С. КАМЕНСКИЙ

Век минувший

(ВОСПОМИНАНИЯ)

ПАРИЖ
1958

С. КАМЕНСКИЙ

Век минувший

(ВОСПОМИНАНИЯ)

ПАРИЖ
1958

Всякая жизнь интересна. Не личность, так среда, страна занимают, жизнь занимает. Человек любит заступать в другое существование, любит касаться тончайших волокон чужого сердца и прислушиваться к его биению. Он сравнивает, сверяет, он ищет себе подтверждения, сочувствия, оправдания.

Герцен

ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД ТАМБОВ

Родился я в 1883 году в губернском городе Тамбове.

> Там есть три улицы прямые
> И фонари, и мостовые,
> Там зданье лучшее — острог.
> Короче — славный городок.

Таким был, по описанию Лермонтова, Тамбов в начале века. Приблизительно таким же остался он и к концу века.

Главная улица — «Большая» — тянулась вдоль всего города, от Варваринской церкви, с площадью того же наименования, до острога. Обстроена она была деревянными, одноэтажными домиками, почти каждый с мезонином и небольшим садиком. Каменных зданий было немного и все больше казенные.

Вдоль Большой улицы, по бокам ее, устроены были асфальтовые тротуары, а мощена она была лишь наполовину, с одной стороны, а с другой — оставлено — «мягко». Обыватели любили кататься в собственных экипажах по немощеной, мягкой стороны, а с другой — оставлено «мягко». Обыватели лющены были еще две улицы: Дворянская, ведшая к вокзалу жел. дороги, и Гимназическая — торговая. В остальных уличках в весеннюю и осеннюю пору — грязь невылазная.

Жили люди в Тамбове по помещичьи, — хлебосольно, уютно и лениво. Тамбов оживлялся лишь во время земских и дворянских выборов. Съезжались помещики из губернии, приезжали именитые дворяне из столиц. Дворяне задавали бал губернатору, губернатор устраивал ответный бал в честь дворян.

В Тамбове не было ни фабрик, ни заводов, и город ничем особенным не отличался. Помещичий город, административный центр обширной хлебородной, черноземной губернии.

Друг моего отца, старший врач земской больницы, а впоследствии старший доктор московской Мариинской больницы, М. П. Яковлев, всегда с любовью вспоминал Тамбов. «Там хорошее общество», — говорил он. Да, там жило много дворянских семейств и они «задавали тон», их традициями и примером определялась жизнь местного общества.

Центр развлечений, — местный клуб, — носил название «Коннозаводского», хотя к коннозаводству он уже давно никакого отношения не имел. Развлекались в нем так же, как во всех провинциальных клубах: винтом и преферансом, по преимуществу. Устраивались в нем также любительские спектакли с благотворительной целью и танцевальные вечера.

В прежние времена, еще на моей памяти, бывали бега и скачки, так как губерния была богата конскими заводами, а также состязания борзых собак — «на злобу и резвость».

Из учебных заведений в Тамбове были лишь низшие и средние: мужская и женская гимназии, реальное училище и «Александринский Институт благородных девиц» (в нем воспитывались моя мать и сестра). В девяностых годах, по инициативе предводителя дворянства князя Челокаева, учреждено было музыкальное училище.

Была в городе небольшая публичная библиотека, устроенная на средства дворян Нарышкиных. Было «Физико - Медицинское общество», учрежденное врачами. Постоянного театра не было, но иногда наезжали на гастроли провинциальные труппы артистов. В течение зимнего сезона в прекрасном зале Дворянского Собрания устраивались концерты приезжими из столиц знаменитостями. Такова была культурная физиономия города.

Много было в нем любителей церковного пения и солисты церковных хоров пользовались у местной публики не меньшей популярностью, нежели оперные премьеры у столичной.

Так жили-поживали обитатели города Тамбова. Службой себя излишне не обременяли, — примерно между 10 часами утра и двумя часами пополудни вершились все городские дела. Прочее время уходило на обильные трапезы, игру в карты, гулянье в городском саду, где играл военный оркестр. Кроме то-

го были в запасе и разные деревенские удовольствия, которые менялись по сезонам. Особенно популярным было катанье на лодках. Река Цна подходила к самому городу. Взяв лодку на одной из пристаней, можно было в полчаса добраться до леса и расположиться на берегу живописной реки.

В хороший летний вечер река эта покрывалась целой флотилией лодок, и пение с них разносилось далеко. Хорошо пели иа Руси, хорошие были голоса!

Разнообразие и оживление в эту безмятежную жизнь вносились великими праздниками. На Рождество — елки, балы, маскарады, катанья на резвых лошадях по гладкой, снежной дороге. На Пасху — разговенье, взаимные визиты и поздравления.

Когда устраивались любительские спектакли. страсти разгорались, особенно у представительниц прекрасного пола. Соревнование в талантах, костюмах, успехе. Нелегко было устроителям лавировать среди всех затруднений, возникавших при распределении ролей, улаживать конфликты между режиссером и артистами и успокаивать задетое самолюбие тех и других.

Такова была жизнь представителей местного общества, — помещиков и чиновников. Но и средним, и низшим служащим жилось не плохо. Так же мало работали и, хоть мало и получали, но хватало на все, — и на сытный обед, и на свои маленькие удовольствия.

Тамбовская Губернская Земская Больница, где много лет служил мой отец, была одной из самых больших и благоустроенных больниц во всей России. Это целый отдельный городок, и стоял этот городок на самом краю Тамбова. Выезжаешь, бывало, из города на извозчике мимо здания почты и губернаторского дома, минуешь кафедральный собор, и сразу глазам открывается простор лугов, по которым катится река Цна. Мимо водяной мельницы Григорьева убегает она все дальше и дальше к лесам, темнеющим на горизонте. Ванька везет по пыльной, ухабистой дороге, переезжает деревянный мост через

маленький приток Цны — Студенец, оставляет в стороне слева женский монастырь и, тут же, рядом с ним, кавалерийские казармы, и въезжает затем по гремящей булыжной мостовой на территорию больницы. Слева тянутся одно за другим краснокирпичное здание Елизаветинского приюта для хроников и белый двухэтажный дом, отведенный под квартиры старшего врача и смотрителя; за ними ворота с будкой, где всегда сидел старик сторож, тут же водокачка и около нее «биржа» — стоянка извозчиков. Если не въезжать в ворота, а следовать прямо той же улицей — дорогой, то слева, за решеткой сада, виднелось трехэтажное, выкрашенное в белую краску, главное здание больницы.

Больница разросталась на моей памяти, много зданий и служб воздвигалось вновь. Постройки утопали в зелени садов, а отец мой вспоминал еще то недавнее время, когда можно было охотиться за дичью на месте этих самых садов.

Напротив главного здания больницы, справа от дороги, стоял небольшой домик с мезонином, окрашенный в коричневый цвет, отведенный земством моему отцу. В этом домике я и провел мое детство. Домик наш стоял на пригорке, в глубине маленького сада, окруженного живой изгородью из сирени и акаций. Внизу под пригорком тянулись на большом пространстве огороды, принадлежавшие больнице, за огородами простирались луга, а среди них извивалось течение реки Цны и ее притоков. За лугами, как я уже сказал, виднелся лес, настоящий дремучий русский лес. Вот обстановка жизни моего детства, — почти как в деревне, во всяком случае — на лоне природы.

Все воспоминания детства и связаны с этим домиком на пригорке. Я был совсем малышом, когда строился этот домик, и смутно помню эту эпоху. Отец выбрал место для дома, наметил с архитектором план его и сам следил за постройкой, а потом и прожил в нем до конца своей жизни. Немудрено, если я считал этот домик почти своим и во мне, до поры до времени, бессознательно коренилось убеждение, что всегда, всю свою жизнь, я буду приезжать туда на отдых и всегда находить в нем приют, покой и возврат к ощущениям детства.

Эта иллюзия разрушилась лишь со смертью отца.

ДЕТСТВО

Детство мое прошло в близком общении с природой. Всегда вспоминается лето, жаркое, сухое лето русской центральной полосы. Внизу под горкой, на которой стоял наш дом, дорога, обсаженная ивами, — «ветлами», как их у нас называли, — вела на широкий луг, богатый полевыми цветами. Посреди луга протекала Цна, — небольшая, ленивая русская река, которая служила нам, ребятам, источником всяких удовольствий: купанье, катанье на лодках, ловля рыбы и раков. За лугом, на горизонте, начинался лес, который тянулся на десятки, а, может быть, и на сотни верст. Во всяком случае мне, в пору детства, он казался каким-то таинственным пределом мира, дальше которого уже ничего нет. Были в этом лесу разные любимые уголки, которые служили целью загородных экскурсий: архиерейский хутор, Святое озеро, Павлова избушка у «Чугунного», железнодорожного моста, «Трегуляев» монастырь. Все живописные места, расположенные на берегу реки. Отправлялись туда или сухим путем, в экипажах, или чаще в большой лодке с парусиновым верхом, защищавшим от солнца, везли с собой всякую снедь, а на месте разводили костер и самовар и проводили много веселых часов.

Вот так, на полной свободе, среди лугов и лесов, садов и огородов рос и воспитывался я. Родители мало занимались моим воспитанием. Жили они всегда уютно, хлебосольно. Было много друзей и знакомых, все больше врачи больницы, сослуживцы отца.

Перед поступлением в гимназию подготовкой моей занялся брат доктора М. С. Прокофьевой — Николай Саввич. Парализованный на обе ноги и вынужденный к бездеятельности, он бодро передвигался на костылях и, несмотря на свою немощь, всегда пребывал в наилучшем настроении духа. Он был частым партнером моего отца по винту и самым веселым собеседником в нашем маленьком больничном обществе.

Наше больничное общество жило своим особым мирком, и дружным мирком. Отец мой получал от Земства небольшое жалованье, а между тем жили мы очень хорошо. Свой отдельный

домик из пяти комнат с садом, две прислуги, своя лошадь для выездов. Отличные у нас бывали поварихи. Няня моя — «Тарасиха» звали ее — была из крепостных. Трогательное существо! Она работала в услужении у кого-то до конца дней своих, а сбережения свои приносила мне и пыталась всучить под предлогом, что они ей ненужны: «Ну на что они мне! В могилу что ли с собою брать? Купи себе подарок от меня».

Обиход жизни в старом Тамбове приближался к деревенскому. Дом наш нагревался большими голландскими печами, русская печь на кухне также топилась дровами. Освещались мы керосиновыми лампами. Воду привозил водовоз. По двору ходили курочки с цыплятами. Рядом с курятником стоял деревянный сруб с большим погребом, — ледник, весь год туго набитый льдом. На базар ездили за провизией раз в неделю, а когда приходила осень, начинались заготовки на зиму всяких плодов и овощей. На дворе появлялись большие деревянные кадки, рубилась капуста, солились огурцы, мариновались грибы, заготовлялись моченые яблоки, сливы, брусника, настаивались наливки.

Не одно лето мы всей семьей проводили в гостях у лесничего Н. Н. Копеца, друга отца, в казенных лесничествах Спасского уезда, в глуши. Какое там было обилие даров природы! Ягоды, грибы, полевые цветы. В прозрачной воде реки Вад ходили огромные щуки, окуни и лещи, а когда затягивали сеть, она чуть не рвалась от переполнения рыбой. Также и дичи было вокруг многое множество. Отец когда-то был страстным охотником, но я почти не помню его здоровым: с ним рано случился удар. Тяжелая пора его болезни ярко запечатлелась в памяти. Особенно запомнилось его осунувшееся, внезапно постаревшее лицо и глаза, полные слез, когда он пытался приподняться с подушки, чтобы приложиться к иконе Казанской Божьей Матери, принесенной к нам в дом*).

*) Чудотворная икона Казанской Божьей Матери прибывала в Тамбов ежегодно в июле месяце. Толпы народа выходили ей навстречу в село Горелое, за десять верст от Тамбова и приносили ее оттуда на руках с крестным ходом. Ее переносили из одной церкви в другую, а местный причт обходил с ней все квартиры в своем приходе. Так и к нам икону приносили каждый год и служили в доме краткий молебен.

У отца сначала была парализована вся левая сторона, но мало помалу он начал вставать с постели и возвратился к своему труду. Впрочем на всю жизнь он остался полукалекой. Он страдал грудной жабой и поддерживал своѐ существование только исключительно строгой диэтой и размеренно-санаторским образом жизни.

У меня в памяти не осталось никаких выдающихся фактов из первых десяти лет моей жизни. Не помню и никаких сильных над собой влияний. Одно лето гостил я у вышеупомянутого друга моего отца, Копеца, носившего звучное имя Наполеона Наполеоновича, в одном из лесничеств Моршанского уезда. Жили мы в полном одиночестве, на лесном кордоне, среди лесов. Там Копец вздумал воспитывать меня по спартански и прежде всего стал приучать к верховой езде. Посадил на неоседланную лошадь и пустил на волю Божью. Ну, лошадь была не слышком лихая, — я мало-по-малу привык на ней ездить. Потом, чтоб приучить к охоте, он водил меня по вечерам на большую дорогу зайцев стрелять. Ружье носил он сам, а я, как завижу зайца, так и вырываю это ружье у него из рук. «Из тебя охотник выйдет», — говорил он, довольный моим азартом. К сожалению, подолгу жить в деревне мне не приходилось и мои таланты к верховой езде и к охоте не получили дальнейшего развития.

Лошадей я всегда очень любил. Первое удовольствие было — самому править лошадью, хотя бы то была последняя кляча. Тамбовские извозчики, зная эту мою слабость, сажали меня, барчука, рядом с собой на облучок и давали возжи в руки. Вот было удовольствие!

Так годы шли. А когда мне исполнилось девять лет, повели меня на экзамен в гимназию. Экзамен я выдержал и гордо надел на голову картуз с гимназической кокардой. Было это в 1893 году. С той поры начался новый, восьмилетний период моей жизни, — гимназический.

В ГИМНАЗИИ

Летом 1893 года знакомый отца, кавалерийский офицер Решетов, предложил обучить меня верховой езде и поручил это обучение своему вахмистру. Тот посадил меня на старую кавалерийскую лошадь и начал гонять по манежу. «Вольт направо. Ма-арш! Вольт налево. Ма-арш!» Через несколько уроков я познал первоначальную мудрость этой науки. Учитель мой в общем был мною доволен, хотя иногда, при моих ошибках, страдая видимо от невозможности хорошенько выругаться, закручивал свой длинный ус и говорил мне: «А нас, ваше высокоблагородие, за это самое по морде бьют». Таким замечанием он приводил меня в большое смущение. Когда я окончил свои уроки у вахмистра, мне оседлали нашу лошадь, ходившую до того времени только в упряжи, — бойкая была гнедая кобылка. А недавно перед тем отец подарил мне новенькое английское седло, — вот я на него и взгромоздился. Пока я ехал шагом по ивовой аллее, лошадка шла спокойно, только пофыркивала, а когда я выехал на луг и стал на ней пробовать свои вновь изученные кавалерийские приемы, она заупрямилась. На беду откуда то бросились на нее собаки, — она испугалась и понесла. Я пытался удержать равновесие, но коленки мои, с трудом охватывавшие тогда лошадиную спину, скользили по новому седлу и на повороте я свалился. При этом упал я неудачно, сломал себе левую ногу возле щиколотки. Доктор уложил меня в постель и загипсовал ногу. А был уже конец лета, и вскоре надо было являться в гимназию. Лежал я, лежал, нога уже начала сростаться, как неожиданно у меня повысилась температура и появились признаки брюшного тифа. Пришлось еще долго оставаться в постели и лишь в ноябре месяце я впервые отправился в класс. Появление мое произвело некоторую сенсацию. Явился новый товарищ, — маленький гимназистик, самый молодой в классе, с огромным ранцем на спине. Сорванцы одноклассники мои бросились на меня, в мгновенье ока свалили с ног и подняли такой гам и визг, что прибежал классный надзиратель для водворения порядка. Вскоре я догнал свой класс, сделался первым учеником, да так и оставался им все

семь лет пребывания в тамбовской гимназии. Ученье давалось мне очень легко. Эти первые годы пребывания в школе запомнились, преимущественно, своими шалостями и забавами. Я слыл за шалуна, и частенько инспектор гимназии Соловский, по прозвищу «цуфрик», ставил меня в наказанье «под часы», на площадку, по которой все учителя проходили на уроки. Классы были двойные, они разделялись на «параллельные» и «основные». Во время большой перемены, — так назывались перерывы между уроками, — на обширном дворе при здании гимназии между параллельными и основными классами часто происходили драки, класс на класс, стенка на стенку. Иногда драка эта принимала ожесточенный характер, бывали разбитые носы и здоровые синяки под глазами. Тогда начальство вмешивалось, и временно война прекращалась. Но вскоре она возобновлялась опять. У каждой стороны были свои главари и свои силачи. В нашем классе самым сильным был П. А. Телятинский, мой приятель и, впоследствии, шафер на моей свадьбе. Но он был человек мирный и не любил драться. Все же его втягивали в драку из за его силы.

Товарищи мои относились ко мне хорошо. Я был смел с начальством и мне многое сходило с рук только потому, что я хорошо учился. К несчастью моему я отличался крайней смешливостью, а так как большинство учителей были люди чудаковатые, то поводов для смеха они давали достаточно. Учитель истории Пустовойтов носил прозвище «грача». Смуглый, с большим носом, в коротеньком вицмундире и узеньких брючках на кривых ногах, он действительно походил на грача. Была у него привычка говорить очень медленно, нюхать при этом табак и кстати и некстати повторять присловье: «Так и знайте». Он часто обижался на меня за мой смех. «Чего вы смеетесь К—нский? Ну так и знайте, встаньте. Отвечайте!» — «Что отвечать, Аполлон Васильевич?» — спрашивал я, давясь от смеха. «А вы не знаете даже, что отвечать? Ну садитесь, единица». Впрочем, из нескольких единиц, полученных таким образом, он выводил мне к концу месяца четверку, так как был уверен, что я знаю его предмет лучше других и могу дать складный ответ в случае приезда попечителя или ревизора. Это чи-

новники - учителя во мне ценили. Другой педагог, Протасов, недурно играл в любительских спектаклях. По этому случаю мнил себя артистом и ходил с длинной, всклокоченной шевелюрой. Приходил в класс, садился на свое место и, расписавшись в журнале, начинал зевать во весь рот. Потом долго глазел в окно и, увидя на улице что-нибудь мало-мальски забавное, принимался хохотать во все горло. Затем с глубокомысленным видом шагал по классу из угла в угол и лишь изредка останавливался, чтоб хорошенько зевнуть. Наконец, на исходе учебного часа, словно опомнившись, брался за классный журнал, вызывал кого нибудь и спрашивал всегда одно и то же: неправильные глаголы. Он преподавал латинский язык.

Первые годы моего пребывания в гимназии директором был дряхлый старичок Удовиченко. Чистенький, аккуратный, он являлся на урок при всех своих орденах и ходил по классу, смешно подрыгивая ногой. При задавании урока он долго и старательно вычеркивал из тощего учебника географии отдельные строчки и даже слова и на это занятие тратил добрых полчаса. Но и в таком сокращенном виде никто ему урока не готовил, а считывали ответ с книги, пользуясь его слепотой. И другие учителя были в том же роде, — чиновники, люди «в футляре». Ни малейшего энтузиазма к науке, ни малейшего педагогического увлечения. Очевидно система задавливала инициативу, а вместе с тем убивала и душу живую у педагогов. Восемь лет изо дня в день заставлять молодежь зубрить латинскую и греческую грамматику, спряжения, склонения, исключения, неправильные глаголы, и не успеть за эти восемь лет объяснить, в чем дух классицизма, ни вдохнуть в молодые души восторга перед величием Рима, перед красотой греческой культуры, — это просто непостижимо. Да за восемь лет молодежь могла бы научиться не только читать и писать по латыни, а говорить и думать на этом языке не хуже средневековых монахов. А между тем у нас дальше неправильных глаголов и элементарных классных сочинений не пошли.

То же необъяснимое явление и с новыми языками: ведь никто еще в гимназии не выучился говорить ни по-французски, ни по-немецки. Это в молодые то годы. Об естествознании, да-

же в его основных началах, нам не давали никакого понятия. Физика преподавалась очень кратко и без наглядных пособий и опытов. Был у нас убогий физический кабинет. Помню, И. И. Александров, учитель физики и математики, всячески старается извлечь электрическую искру из прибора, но ничего не выходит. «Отсырело, должно быть», — говорит он со свойственным ему флегматизмом.

Историю, литературу, — все это преподавали нам сухо и отрывочно, задавая «от сих и до сих», не делая никаких обобщений и не вдаваясь в подробности. Главное, чего требовали экзаменаторы, была хронология. Никто поэтому не привил нам ни малейшего вкуса к литературе и поэзии.

Эстетика совершенно отсутствовала в нашем воспитании. Уроки музыки заключались в хоровом пеиии квази-народных песен под скрипку учителя, — церковного регента. Физическое воспитание сводилось к маршировке и военным приемам под руководством армейского офицера. В нашей казенной школе «система» сводилась к притуплению, а не к развитию молодых способностей. Вместо воспитательного она во многих отношениях имела развращающее влияние. Во-первых, она не приучала, а отучала от работы. Я почти не готовил уроков, но так приспособился к требованиям учителей, что всегда мог ответить удовлетворительно на их вопросы.

Во-вторых, школа не развивала уважения и любви к книжке и знаниям, а напротив, благодаря плохим учебникам и сухой, педантичной системе преподавания, внушала отвращение к занятиям и наукам.

Наконец, — и главное, — между педагогическим персоналом и учащимися устанавливались ненормальные, почти враждебные отношения. Вне класса никакого общения с педагогами у нас не было, и мы понятия не имели, что это за люди. Приходили эти чиновники в класс в своих вицмундирах и безжалостно требовали от нас одного: зубрежки, точного знания урока, — не меньше, но и не больше. Никакого увлечения своим предметом преподавания у них не было. Не было также никакого интереса к нам, как к детям, как к молодежи, как к психологическому и педагогическому материалу. Словно и мы также

были только чиновниками, обязанными исполнять свой долг, то есть готовить уроки.

Когда задавалось сочинение, нужно было непременно развивать в нем ту основную идею, которую подсказывал нам наш педагог. Всякие отступления от этого или, чего Боже сохрани, развитие каких-либо своих оригинальных мнений не допускалось и считалось вредным умствованием.

Если я сохранил все-таки светлое воспоминание об этой поре своей юности, то этим я обязан отнюдь не школе. Как и первые десять лет моей жизни, я продолжал помимо школы получать «естественное» воспитание. Я продолжал любить природу, — лес и реку, солнце и вольный воздух. Часами просиживал с удочкой в руках над спокойной, гладкой, как зеркало, рекой; часто совершал прогулки на велосипеде по живописным окрестностям Тамбова. Любил также катанье на лодке по широкой красивой Цне. Чаще всего ездили мы к железнодорожному «Чугунному» мосту, там располагались на берегу, на травке, в ожидании вечернего поезда, который, уже в сумерках, ярко освещенный, проносился из Саратова по направлению к далекой Москве. Все эти прогулки совершали мы в приятной товарищеской компании и, конечно, оглашали воздух дружным пением широких русских песен. Пели хорошо, правильно, на три голоса, хотя никто нас этому не учил, способность же эта дана, как известно, русским людям от Господа Бога, на зависть и удивление прочим народам.

Так совершалось в те времена наше эстетическое и моральное воспитание, — на лоне природы, на воле вольной. Совершалось оно еще в храме Божьем, на богослужениях. У меня с детства был хороший дискант и я несколько лет пел в гимназическом церковном хоре. Кто любит русские церковные службы и их песнопения, тот поймет, какое большое впечатление должно было оставаться от них в молодой душе. Все главные русские праздники, а в особенности Великий пост и Святая Пасха навсегда отпечатлелись в наших воспоминаниях.

Итак, вот мои подлинные воспитатели в то время: товарищество, природа, и, кроме того, чтение книг. Но чтение было «легкое», — без толку и без разбору: Майн-Рид, Фенимор Ку-

пер и Вальтер Скот чередовались с повестями Желиховской и «Князем Серебряным».

В СТАРШИХ КЛАССАХ

Отроческий период начался у меня с переходом в пятый класс. Голос мой стал меняться, пришлось прекратить пение в церковном хоре. Постоянно участвуя в богослужениях, я, до того времени, не вникал в их смысл, а воспринимал их лишь внешне, бессознательно. С этого времени я начал осмысливать молитву и сделался набожным. Но период набожности продолжался у меня недолго.

Один из товарищей моих по классу, Неверов, который казался старше меня и держался особняком от остальных, стал давать мне книги для чтения, беседовать со мной о прочитанном и тем самым оказывать на меня большое духовное влияние. Одной из первых книг, которую он мне дал, была популярная книжка Уоллеса, излагавшая учение Дарвина, и книжка эта произвела в душе моей целую революцию.

Я уже описывал раньше, как постепенно, с развитием критической мысли, во мне выработалось недоверчивое и даже презрительное отношение к моим казенным учителям. То, что они преподавали, было так мертво и рутинно, что, казалось, они задались целью скрывать от нас истину, а не просвещать нас. И вот истина вдруг открылась передо мной, как думалось мне, во всей полноте. Весь мир представился мне, как единое естественно-историческое явление, как результат борьбы за существование и как естественный подбор наиболее приспособленных к жизни существ. И мы, люди, не составляем исключения, и мы входим в общую цепь мироздания, ибо человеческий тип выработался также постепенно путем улучшения и подбора. Теория поразила меня своей универсальностью, она давала сразу цельное мировоззрение, объясняла «все», — весь видимый мир сводила к единому движущему началу. Точка зрения Дарвина не испугала меня своей материалистической сущностью, да я и неспособен был в то время критически разобраться в

ней. Она совершенно захватила меня новизной мысли и предмета. Теперь мне трудно даже понять, почему эта маленькая популярная книжка произвела на меня такое огромное впечатление. Вероятно, больше всего поразил ее метод и широта обобщения, по контрасту с той схоластикой, что преподавалась нам в гимназии. Я был тогда в периоде Sturm und Drang и склонен был преувеличивать все свои восприятия так же, как и выражения своих мыслей и чувств. До сих пор запомнился мне один разговор с мамой из той эпохи: «Мама, ты читала про теорию Дарвина?» Мама отвечает дипломатически, по женски: «Не помню». — «Но как же ты мне ничего не сказала о ней! Как же можно жить, не зная этой теории!»

За книжкой Уоллеса последовали другие, но ни одна из них, даже запрещенный в то время для нас Писарев, не произвела такого впечатления, как эта первая. На чтение книг, которые давал мне Неверов, набросился я с некоторым священным увлечением: вот она, мол, «настоящая» наука, та самая, которую от нас до сих пор скрывали. Вначале я читал больше популярные книжки из той области, с которой был вовсе незнаком, — по естествознанию.

Вскоре Неверов познакомил меня с некоторыми из учеников старших классов, которые так же, как и я, старались пополнить свои знания внешкольным самообразованием. В большом ходу была среди нас брошюра проф. Кареева: «О выработке научного миросозерцания». Идея брошюры состояла в том, что необходимо ознакомиться с методами и выводами всех наук и на основании этого знания выработать в себе некоторое гармоническое представление о мире, своего рода философскую систему. Задача была нелегкая, но мы со рвением неофитов стремились одолеть ее и много перечитали книг, преимущественно по истории, политической экономии и социологии. Нередко мы собирались на чьей либо квартире, читали вслух и обменивались мнениями о прочитанном. Иногда кто нибудь из нас писал реферат, и споры по поводу рефератов были еще более оживленными.

Все эти собрания и разговоры были совершенно естественными в нашем возрасте и ничего противозаконного в себе не

заключали, но узнай про них наше гимназическое начальство, оно посмотрело бы на это весьма косо. Это сознание делало их в наших глазах еще более заманчивыми и привлекательными. То, о чем я рассказываю, продолжалось не один год, а целых три, — это годы моего пребывания в 5-ом, 6-ом и 7-ом классах Тамбовской гимназии. К нашему кружку присоединились впоследствии и несколько гимназисток. Кружок наш был тесным и товарищески дружным. Летом мы часто устраивали поездки за город, в лес, и там, наряду с «умными» разговорами, веселились, как умеет веселиться всякая молодежь.

По мере нашего возмужания и развития, от интересов чисто научных внимание наше перенеслось на вопросы общественные, политические и моральные. Этому способствовало чтение статей популярных тогда критиков — Писарева, Добролюбова, Шелгунова и Михайловского, а также знакомство с новейшей историей западной Европы и особенно с историей русского общественного движения, начиная с декабристов и кончая народовольцами. В то время в России только что началась проповедь марксизма и образовалась партия социал-демократов. Полемика этих последних с социалистами-революционерами по разным экономическим и социологическим вопросам находила свое отражение в ежемесячных журналах. Хотя нам трудно было разбираться в этого рода вопросах, однако мы старательно следили за этой полемикой.

Испытывали мы на себе также влияние студентов, приезжавших на каникулы со свежими университетскими и политическими новостями. Еще большее влияние имели на нас ссыльные студенты, жившие в Тамбове; были и такие. Среди них находился одно время и знаменитый впоследствии В. М. Чернов, а также родственник его, коренной тамбовец, С. Н. Слетов, тоже с.-р. В мое время Чернова в Тамбове уже не было, и я лично его не знал, но он оставил по себе память в виде длинного списка книг по разным отраслям знания, рекомендованных им для чтения молодежи. Слетова я знал очень мало, и он большого влияния не имел по причине своего желчного, болезненного характера.

Больше же всего влияла на нас общая политическая атмо-

сфера того времени. Трудно было нам, молодежи, не поддаться этому влиянию, когда почти вся интеллигенция была настроена тогда либерально и социалистически. Как иронически писал какой то поэт:

Чиновники, семинаристы,
Кадеты, дамы, гимназисты,
Квартальные, профессора,
Грудные дети, фельдшера,
Просвирни, даже генералы,
Всё поступило в либералы.

В чем же выражался этот наш либерализм? Конечно, от нас, гимназистов, никакой политической активности не требовалось. Наше «направление» сказывалось, пожалуй, в репертуаре песен, которые мы пели на прогулках. Но кто же из молодежи не певал в свое время «Укажи мне такую обитель» или «Дубинушку»!

Влияние на меня моих старших товарищей и студентов в описанные годы имело свои хорошие стороны: интерес к чтению, товарищеский обмен мнений, развитие идеалистических настроений. Но, к сожалению, оно было крайне односторонним. Нам, большей частью, давали книги тенденциозно подобранные, а мы еще не в состоянии были критически разобраться в этом. Так мысль наша довольно долго жила в некоторых умственных «шорах». Всякий писатель из категории «правых» или «буржуазных» заранее опорочивался в наших глазах, как ретроград и служитель эгоистических интересов, а потому, не доверяя его словам, мы избегали читать его. Таким образом, аргументы противников либеральной или западнической точек зрения нам совершенно не были известны. Сколько, таким образом, оригинальных и чисто русских идей не вошло в поле нашего умственного зрения (славянофилы и др.). Мы усердно читали, например, Златовратского и Омулевского, но совсем не знали Лескова и Писемского. Нашим эстетическим развитием никто не интересовался, — художественную литературу, как таковую, мы не ценили, поэзию также, в религиозные и фило-

софские вопросы не углублялись. В нашем мировоззрении господствовал узкий, наивный позитивизм, хотя по натуре моей я вовсе не склонен был к таковому.

С другой стороны, нам все твердили о том, — да мы и сами знали это по книгам и из жизни, — что народу нашему живется плохо. Он крайне невежественен, беден и бесправен, культурные и материальные условия его существования ужасны. Отсюда мы выводили наш исторический долг — помочь народу выбраться из этих условий, — «служить народу». Мы говорили себе, что мы не должны спокойно пользоваться своими преимуществами и благами жизни, пока массы людские живут в таких условиях. Все наши помыслы, вся наша деятельность должны быть направлены на изменение и улучшение этих условий. Вместе с тем, мы стали осуждать тех, кто эгоистически предавался светским удовольствиям, осуждали за богатство и роскошь, относились с осуждением и к тем, кто не участвовал активно в общественной жизни. Таким однобоким и несправедливым осуждением мы ставили себя вне того провинциального общества, среди которого жили. И, действительно, я почти перестал бывать в этом обществе, не появлялся на местных балах и вечеринках, за что от дам местного бомонда получил даже прозвище «мизантропа».

Иногда в глубине души мне было досадно, что я разучился просто, радостно воспринимать жизнь. Ощущение какой то нашей общей виноватости перед обездоленными легло тенью на мою молодую душу. И это осталось во мне надолго. Помню из этой поры характерный разговор с другом отца доктором Щелочилиным. Ник. Ник. Щ. был врачом в психиатрическом отделении больницы. Он не занимался частной практикой, а любил медицину, как отрасль знания, свою работу, как призвание. Старшего врача, — Ф. И. Бартелинка, — он боготворил и как специалиста-психиатра, и просто как человека, и нередко возвращался к разговорам о нем. Ф. И. Бартелинк был, действительно, обаятельным человеком по своей доброте и душевной деликатности. Как то мы опять заговорили о нем, и я заметил, что большим недостатком Бартелинка является, по моему мнению, его равнодушие к общественной деятельности.

Щелочилин с жаром стал объяснять мне, какое огромное общественное значение имеет деятельность Фед. Ив., как заведующего психиатрической больницей. Но я, со своими широкими горизонтами в то время, объяснений его, конечно, не воспринял, так как имел в виду только деятельность политического характера.

Надо признать, что в том извращении перспективы, в каком нам представлялся мир в то время, в значительной мере виноваты были общественные условия, в которых мы жили. Политические и общественные вопросы совсем не обсуждались открыто, а потому мы и не могли ознакомиться с различными точками зрения на них. Самые невинные книги почитались для нас запрещенными, а потому каждое написанное в них слово воспринималось нами, как священная истина. Ссыльные студенты, которые поучали нас, были в наших глазах людьми, пострадавшими за убеждения, а потому все слова и поступки их были окружены для нас некиим ореолом. Наконец, нам льстило, что к нам, подросткам, гимназистам, они обращаются с разговорами по таким серьезным вопросам и ждут от нас, в недалеком будущем и с полным доверием к нашим силам и способностям, каких то чрезвычайно важных и полезных в общественном смысле поступков.

К тому же никто из людей солидных и почтенных в нашем городе не интересовался молодежью и не пытался влиять на нее.

В жизненном обиходе мне приходилось, тем не менее, общаться с родными и знакомыми, и эти встречи не могли, конечно, не оказывать на меня некоторого влияния и в ином направлении.

Лучшим моим другом по гимназии был Костя Жиров. Костя был скрытный, застенчивый, молчаливый, но я чувствовал и ценил его сердечную привязанность ко мне. Он был старше меня и сознательней, ибо жизнь доставалась ему тяжелей, чем мне: он был круглым сиротой. Он также принимал участие в нашем кружке и, хотя чаще всего молчал, но я и по молчанию его понимал, когда он не одобрял какие-нибудь слишком скороспелые заключения или резкие суждения. Это влияло на ме-

ня, горячую голову, умеряющим образом. Были у меня и взрослые друзья. Один из них, упомянутый выше доктор Щелочилин, человек уже немолодой, борода с проседью. Он любил меня, любя всю нашу семью и будучи другом отца.

Николай Николаевич был одинок и меланхоличен. Занимал он целый домик на территории больницы. При домике был прекрасный цветник, который Н. Н. развел своими руками. Он был хороший садовод и очень любил цветы. Заходил я иногда к нему чайку попить и поговорить по душам. Заставал его обыкновенно за работой по садоводству: поливал, подрезал, подвязывал цветы. Всегда радовался моему приходу. О разном беседовали мы с ним. Психолог по профессии, он много интересного рассказывал из своего опыта. Обсуждал иногда со мной заинтересовавшую его статью в последнем номере «Вопросов философии и психологии». Иногда он брал меня на обход по отделениям психиатрической больницы и объяснял разные виды душевных болезней. Он любил свою специальность и каждые два-три года ездил за-границу для усовершенствования.

Одно время в беседах наших принимал близкое участие и другой врач-психиатр, д-р Иогансен. Это был высокий, нескладный немец, милый и добродушный, а главное — интересный и талантливый человек. Ник. Ник. высоко ценил его ученость и оригинальную мысль.

Одно уж то было полезно для меня в этих беседах с Н. Н. и Иогансеном, что они не касались политики, а уводили меня в область чисто научных вопросов, обсуждаемых к тому же вполне объективно.

Был еще у меня приятель много старше меня — студент Московского Университета М. А. Аносов. Высокий, худой, с маленькой, гладко выстрижежной головой на длинной тонкой шее, он красотой не отличался (типа Ганди). Когда он увлекался разговором, то начинал мерить комнату аршинными шагами, заложив руки за спину. В глазах его, в эти моменты, за стеклами очков, горел огонь неподдельного идеализма. Аносов был типичный московский студент и энтузиаст науки. Когда он рассказывал об университете и профессорах, он заражал меня своим духовным гореньем. Он передавал манеру чтения

лекций Ключевского, Герье, Грота, Лопатина. Но из всех своих учителей он особенно почитал Владимира Соловьева.

Увидеть этот тип студента, — не политика, не пропагандиста, было для меня новостью. Еще больше удивило меня, когда он стал критиковать взгляды позитивистов и им противоставлять свои, — философского идеализма. Это не могло не произвести на меня впечатления, тем более что так называемый «экономический материализм» марксистов всегда отталкивал меня от себя. Взгляды Аносова были симпатичней, мысли его свежее и оригинальней. Он так увлек меня, что уговорил читать вместе с ним Гегеля. Читали вслух, он объяснял... К сожалению, наши занятия скоро должны были прерваться, и влияние Аносова было кратковременным. Но оно оставило большой след. На меня повеяло воздухом университетских аудиторий и чистой науки.

АРЕСТ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ГИМНАЗИИ

Возвращусь однако ко внешним событиям моей жизни.

В гимназии я продолжал учиться так же хорошо. Со всеми товарищами моими у меня сохранялись прекрасные отношения. Учителя же, вероятно, заметили происшедшую во мне внутреннюю перемену, и некоторые из них стали относиться ко мне враждебно. Иногда классный наставник Вяжлинский едко замечал по моему адресу: «теплый малый», что должно было обозначать что то плохое. Но все это, однако, не позволяло мне предвидеть ту грозу, которая вскоре разразилась надо мной.

Я был в 7-ом классе. Однажды, — это было в весенней четверти года, — во время урока директора в класс вошел надзиратель и передал ему какую то бумагу. Директор читая эту бумагу, изменился в лице. Потом обратился ко мне: «Соберите ваши вещи и следуйте за надзирателем». Внизу, в парадном вестибюле, меня ждал жандармский унтер-офицер в полной форме. Он повел меня, среди бела дня, по главной улице и привел в полицейский участок. В участке меня продержали несколько часов, а затем повезли домой. Дома я застал жандармского офи-

цера, который успел уже до моего прибытия произвести обыск в моем письменном столе и вещах.

Можно себе представить, каким событием в маленьком больничном мирке было появление жандармов и производство обыска в нашей квартире. Думали Бог весть что. Отец и мать имели испуганный вид, тем более, что жандармский офицер вел себя нагло. Вся эта история не кончилась бы ничем серьезным, если бы меня не подвел чистейший случай.

Из вещей «предосудительных» жандарм нашел у меня только ящик с двумя десятками книг, принадлежавших упомянутому студенту Аносову и оставленных им у меня на хранение. Да и из этих книг, совершенно легальных, разумеется, жандарм отобрал по названиям только две: «Самодеятельность» — Смайльса и «Эволюция морали» — Летурно. Впоследствии выяснилось, что он слово эволюция смешал со словом «революция», а всякая «самодеятельность» при царском режиме ему казалась запрещенной. Но не эти книги решили мою участь, а другое: письмо ко мне моего дядюшки, доктора Н. М. Какушкина, из Петербурга.

Дядюшку своего я в то время почти не знал. Он служил врачом в тамбовской больнице, когда я был еще совсем ребенком. Затем он уехал в Петербург и там, после многих лет упорного труда, сделался приват-доцентом Женского Медицинского Института.

Незадолго перед описываемыми событиями у нас с ним завязалась переписка. Я обратился к нему за каким то разъяснением, а он заинтересовался племянником, который успел стать юношей и, при том, юношей «с запросами», и ответил мне подробным письмом, за которым последовали и другие. Письмо его, которое лежало нераспечатанным на моем письменном столе как раз в момент обыска и, таким образом, попало в руки жандарма, было посвящено рассуждениям о женском высшем образовании в России. Дядюшка, разумеется, поощрял стремление девиц к науке и самостоятельности, писал о том многословно и красноречиво и заключал письмо эффектной фразой: «чем ночь темней, тем ярче звезды»! Дядюшка был мастер писать письма.

Не знаю, почему, собственно, письму этому жандарм придал такое значение, — кто ее поймет, жандармскую психологию. Но в письмо это он вцепился обеими руками, заявил, что это дело серьезное, что он видит тут нити какого то заговора и т. д. А посему и оттого он меня арестовал и увез с собой.

Первую ночь меня держали в канцелярии жандармского правления. Внизу под ней помещалась квартира жандармского полковника. Впоследствии он обвинял меня в том, что я всю ночь ходил из угла в угол по канцелярии с явным, будто бы, намерением не давать ему спать. А я и не подозревал, что его квартира находится внизу. И до того ли мне было!

На другой день меня свезли в тюрьму и поместили в одиночку. Она показалась мне тогда ужасной: вся обстановка камеры — мешок, набитый сеном, вместо постели и «параша» — для прочих надобностей.

Был я совсем мальчишкой тогда, мне недавно исполнилось 16 лет. Однако жандармский офицер специально приезжал в тюрьму, чтобы глумиться надо мной и запугивать. Он не постеснялся даже играть на такой нежной струне сердца, как любовь к отцу. «Вашему отцу очень плохо, — сообщил он мне, — сознайтесь и мы вас выпустим». К счастью, его сообщение о болезни отца было ложным.

«Сознайтесь!» Но в чем сознаться? По совести, никаких преступных действий ни за собой, ни за своими приятелями я не знал. Начались допросы, во время которых жандарм старался утомить меня, поймать на словах и запугать. Но материалу для обвинения не было никакого и потому ему ничего не удавалось вытянуть даже из такого юнца, каким был я. Однако допросы продолжались часа по два, по три, и я писал длинные, нелепые показания.

До чего глуп и невежественен был мой истязатель, не поддается никакому описанию. Я уже указал, что он эволюцию принял за революцию. Затем он обвинял меня, что я интересуюсь «социологией», очевидно смешивая социологию с социализмом. Потом принялся обвинять меня в сочувствии «феминизму». Это уж он вычитал из дядюшкина письма. Затем допытывал меня, конечно, насчет этого стихотворения: что это за

«ночь» такая, которая так «темна», и кто эти яркие «звезды»? Главный удар был припасен к концу допроса. Сначала предисловие: по письму они сразу поняли, что дело пахнет заговором и притом, заговором «во всероссийском масштабе», а потому тотчас телеграфировали в Петербург об аресте дяди. Арест произведен и отобрано масса компрометирующих документов*). Однако они понимают мою маленькую роль в этом заговоре, — лишь как посредствующего звена, — и советуют мне, для блага моего, во всем чистосердечно повиниться.

Конечно, будь на месте этого жандарма парочка опытных чекистов, они, вероятно, довели бы меня и до «чистосердечного» сознания. Я сочинил бы заговор и по их подсказке оговорил бы невинных людей. Но тогда техника этого дела не была еще так высока, да и времена были другие, более патриархальные, «диктатура пролетариата» еще не наступила и пыток не применяли. И я через несколько дней был выпущен из тюрьмы.

На прощанье со мной проделали еще один гнусный опыт: из тюрьмы повезли сначала на вокзал, сказав, что отправляют в Петербург, в виду важности этого дела. Это — чтоб сильнее напугать. Потом внезапно повернули к жандармскому управлению и здесь еще раз подвергли продолжительному допросу. После этого, наконец, выпустили.

Был я тогда молод и задорен и, притом, настроен на героический лад. В тюрьме смущал тюремщиков своим независимым поведением. Даже распевал в своей камере, к их смущению, и они не знали, что со мною делать. Я был тогда единственным и, кажется, первым политическим узником в тамбовской тюрьме. Но когда меня выпустили на волю и я зашагал домой, я помню, как меня охватило неприятное чувство: мне казалось, что кто то следит за мной и чуть ли не следует по пятам.

Мое скорое освобождение оказалось не случайным. За меня хлопотали и хлопоты возымели свое действие. Отец обратился за заступничеством к вице-губернатору Чоглокову, с которым был знаком, и который в то время замещал губернатора. Чоглоков немедленно телеграфировал в Министерство Внутренних

---

*) На самом деле у дядюшки был произведен обыск, но, конечно, ничего не нашли и тотчас его отпустили.

Дел просьбу о моем освобождении. В то же время четверо именитых граждан города Тамбова: старший врач больницы проф. А. Х. Ринек, известный земский деятель С. И. Комсин, другой известный земец проф. Сущинский и еще кто то четвертый телеграфировали в Петербург просьбу отпустить меня им на поруки. Удивительный факт, свидетельствующий о гражданском мужестве упомянутых лиц и об их исключительно добром отношении к нашей семье. Но со всесильным жандармским полковником нелегко было сладить, и меня все-таки продержали в тюрьме несколько дней.

Конечно, на моей молодой душе история эта не могла не оставить тяжелого следа. Имела она также большие последствия для моей дальнейшей судьбы, так как меня исключили из гимназии.

Для меня так и остались загадочными причины обыска у меня и моего ареста. В тот достопамятный день забран был из гимназии не я один: жандармы арестовали тогда и обыскали еще трех гимназистов, но в тюрьму их не сажали. Двое из них были моими друзьями и участвовали в нашем кружке. Третий же к нам никакого отношения не имел. Почему выбрали именно нас? Кто на нас указал? По какому поводу и с какой целью это было проделано? При этом проделано так грубо, среди бела дня, с явным намерением произвести огласку и скандал...

Я уже упоминал, что при моем поступлении в гимназию директором был безобидный старичок Удовиченко. Затем, после его ухода в отставку, нам назначили сравнительно молодого и энергичного директора Успенского. Успенский сразу произвел впечатление человека сухого, неискреннего и карьериста. В моей истории он все время играл некрасивую, двусмысленную роль. Прежде всего, по получении требования о нашем задержании, он ни на одну минуту не вспомнил, что он педагог, а мы дети, вверенные его попечению. Он не заступился за нас, не попробовал даже выяснить причины такой странной меры. Она тем более должна была казаться странной, что Тамбов был в то время тихим, провинциальным городом, совершенно гоголевское царство. Никто там ни о какой революции и не слыхал.

С чего же вдруг хватать людей. И кого же? Мальчиков, гимназистов!

Так рассуждали тогда все здравомыслящие обыватели и объясняли всю историю желанием жандарма проявить свою «деятельность», а также и его чрезмерной глупостью. Но этим далеко не все разъяснялось.

Итак, директор выдал нас и умыл руки. После моего ареста ни он, ни педагогический совет слова за меня не замолвили, в то время как хлопотали другие, люди оффициально для меня посторонние. После моего освобождения мать пошла к нему спросить, что же теперь со мной будет. Он ответил ей по иезуитски, что это зависит не от него, а от педагогического совета. А на педагогическом совете он, не дав никому слово вымолвить, сразу заявил, что К—нский в гимназии оставаться не может, раз он сидел в тюрьме. Среди педагогов нашелся все-таки один, математик Александров, который поднялся и, со свойственной ему манерой медленно растягивать слова, спросил: «Почему-с?» Но на это «почему-с» ответа не последовало. Совет сделал относительно меня оригинальное постановление:

1) К—нского перевести в 8-ой класс без экзамена; 2) в награду за успехи выдать ему похвальный лист, и 3) из гимназии его исключить.

Последствия такого исключения были для меня очень тяжелыми: я почти лишался надежды быть принятым в какую либо другую гимназию и вместе с тем окончить свое образование.

Но, слава Богу, свет не без добрых людей. Начались хлопоты. Добрейший С. И. Комсин написал письмо в Харьков, а в Москве за меня принялся хлопотать М. П. Яковлев, большой друг отца, бывший старший врач тамбовской больницы. Хлопоты Яковлева увенчались успехом: директор 2-ой московской гимназии Гулевич, большой самодур, но человек добрый и решительный, согласился принять меня в свою гимназию. Но согласие свое он ограничил следующими условиями: 1) я должен жить в интернате гимназии и находиться под постоянным наблюдением надзирателей, 2) меня будут отпускать из интерната только на воскресенья и только к М. П. Яковлеву, под лич-

ную его расписку с тем, чтобы в понедельник утром тот же Яковлев лично доставлял меня в гимназию.

Итак в моей жизни произошла катастрофическая перемена. До тех пор я рос и развивался на полной свободе, — теперь я поступал под постоянный надзор. Вместо простора и раздолья тамбовских лугов и лесов я очутился в четырех стенах казенного интерната. Вместо родного дома, где я окружен был всегда нежной заботливостью родителей, жизнь среди чужих и враждебных мне людей.

Но худшее испытание меня ждало впереди: то были отношения с моими новыми товарищами, — гимназистами московской 2-ой гимназии.

В МОСКОВСКОЙ 2-ой ГИМНАЗИИ

С товарищами моими по тамбовской гимназии у меня были настолько хорошие отношения, что на прощанье они устроили даже в мою честь маленькую демонстрацию, которая меня глубоко тронула. Они снялись со мной группой, — весь 7-ой класс полностью явился к фотографу, — и преподнесли мне эту группу на память. Кроме выражения этим своей ко мне симпатии, с их стороны это было проявлением известного гражданского мужества.

В 7-ом классе мы все уже чувствовали себя юношами и, сколь различны ни были мы, мы в отношении друг к другу строго руководствовались товарищеской этикой. Все мы, не сговариваясь, держались солидарно и с достоинством в отношении нашего начальства — учителей. Никто из нас никогда не подхалимствовал перед учителями, никто никогда не подвел бы товарища в отношении начальства. Все мы учились и готовили уроки, исполняя необходимое, но никто особого рвения не проявлял и не гнался за хорошими отметками и отличиями. И по отношению друг к другу мы вели себя вполне корректно и культурно.

Совсем иное общество и нравы нашел я во второй московской гимназии. Тут было три категории: одни, — это первые

ученики, — сидели на первых скамьях, заглядывали в глаза учителям и всячески к ним подлизывались. В то же время они держали себя какой то аристократией по отношению к остальным ученикам. Другая категория, — это компания великовозрастных юношей (одному из них было 24 года), которые, главным образом, интересовались сексуальными вопросами, развратничали во всю и открыто хвастались своим развратом. Наконец, третья категория, — полные безличности, «болото». При таком составе класса я обрекался на полное нравственное одиночество. Но я должен был жить с этими людьми и целыми днями находиться рядом с ними. Значит волей-неволей я должен был выработать в себе какое то к ним отношение, что называется «поставить» себя с ними, добиться того, чтобы, по крайней мере, они оставили меня в покое и уважали меня.

Мне было тогда особенно трудно достичь этого, так как я был крайне подавлен всем случившимся со мной и новыми условиями жизни. Мои новые товарищи не знали причин моего поступления в их гимназию, а я обязался этого им не открывать. Первые ученики отнеслись ко мне сначала с полным пренебрежением. Они обратили на меня внимание лишь после первой четверти года, когда я, чужой и незаметный, вдруг занял место рядом с ними, став третьим учеником в классе. Таковым я и оставался целый год.

Вторая категория, — великовозрастные, — были поражены, когда я отказался участвовать в их оргиях и вести с ними циничные разговоры. Они начали травить меня за это и доставили мне немало горьких минут. К счастью, среди них нашлось двatри развитых, начитанных парня, которые заметили мою манеру держать себя с учителями и товарищами, — а эта манера им понравилась, — и они стали заступаться за меня. Но они все же искренне недоумевали по поводу моего скромного образа мыслей и поведения и старались различными доводами оправдать себя и втянуть меня в свою компанию. Наконец, среди прочих было несколько симпатичных, хоть и бесцветных, товарищей, с которыми я иногда беседовал, но не сближался.

Особенно тяжело было в первые дни, когда я совсем еще не привык к новой жизни. Был даже такой момент, когда я напи-

сал отчаянное письмо родителям и просил их немедленно взять меня из гимназии. Родители перепугались не на шутку и, воспользовавшись поездкой в Москву приятеля моего отца, А. А. Вернера, поручили ему навестить и урезонить меня.

Парламентер был выбран неудачный. Андрюша Вернер, как все его звали в Тамбове, был владельцем аптекарского магазина. Человек он был легкомысленный и с чудачествами. Чудачества его основаны были на том, что он любил, что называется, «эпатировать» обывателей. Раздобыл себе каким-то образом велосипед старого типа: одно колесо огромное, а другое маленькое, и стал на этом велосипеде кататься по городу. Потом завел себе верховую лошадь и каждодневно ездил на ней по главной улице шагом, — только шагом, ибо, в сущности, он верховой езды не любил: один день едет в красном фраке, другой в зеленом, третий в синем и т. д. Вся суть была в этих фраках. В городском саду устроен был специальный круг для велосипедных гонок. Андрюша, будучи под мухой, что с ним случалось нередко, нанял извозчика и приказал катать себя по этому кругу, чем и учинил скандал.

Позже он женился и образумился.

Во всяком случае Андрюша был добрый малый и меня искренне любил. Я рад был видеть его, своего человека, хотя в уговорах его я уже не нуждался. Еще до его визита я справился с собой и написал родителям успокоительное письмо.

Но приходилось мне действительно тяжело. Нужно было жить под вечным наблюдением, — днем на уроках, вечером на приготовлении уроков, в том же здании, в тех же классах. Думал я, что, может быть, в столичной гимназии учителя будут лучше наших, провинциальных, и заинтересуют меня своим преподаванием. Не тут то было, — все то же, та же рутина. Словно рок какой то висел над русскими педагогами того времени, — не было среди них настоящих людей. Одни — бывшие люди, инвалиды, другие — чудаки, подвергавшиеся насмешкам учеников. Таковыми были во 2-ой гимназии учитель истории Владиславлев и учитель русского языка Петров. В отношении последнего ученики 2-ой столичной гимназии позволили себе такую выходку, которая была бы немыслима со стороны моих товарищей

по тамбовской гимназии: ему воткнули булавку в стул и он, несчастный, сел на эту булавку.

Были еще другого типа учителя, — карьеристы. Таковыми были здесь учитель древних языков, он же инспектор гимназии, Никифоров (по прозвищу Фифишка), и учитель космографии Кашин. Никифоров считался знатоком своего предмета. Он даже издал свою латинскую грамматику. Но преподавание его было очень сухо и скучно. У него был свой конек: при чтении классиков он особое внимание обращал на описание сражений и требовал подробного рассказа о том, как и где были расположены войска противников, состав и численность этих войск и весь ход сражений. Словом, он питал особое пристрастие к военному искусству, хотя это совсем не шло к его чиновному виду. К тому же он был заика. Первые ученики из всех сил зубрили стратегические подробности, я же к ним никакого вкуса не имел, за что и поплатился на выпускном экзамене. Никифоров не взлюбил меня с самого начала и стал придираться ко мне. Во второй половине учебного года ему удалось сделать мне величайшую неприятность. Он послал классного надзирателя в одно из воскресений на квартиру к Яковлеву проверить, там ли я нахожусь. Как раз в это время я пошел прогуляться по Москве. Тогда он доложил директору, что я не исполняю поставленного условия — проводить воскресный день только у Яковлевых, и добился того, что я был совсем лишен отпусков, даже по воскресеньям.

На выпускных экзаменах я шел отлично по всем предметам, но Никифоров придрался ко мне на своем экзамене, начав спрашивать мельчайшие подробности какого то сражения, сбил меня на этом и поставил тройку по латыни, благодаря чему я лишился медали.

Нечего и говорить, как грустно чувствовал я себя по вечерам в интернате. Мысли о Тамбове, о родных, о семейном уюте, воспоминания о свободной жизни... А тут не с кем душу отвести. Да еще постоянно быть настороже: надзиратель искоса поглядывает, как бы я не стал заниматься «политической пропагандой» среди товарищей. А эти самые товарищи подсаживались ко мне и начинали громко рассказывать разные сальности. Это

забавляло их особенно потому, что они знали, как мне неприятны подобные разговоры. Еще больше мне была неприятна общая нравственная атмосфера интерната. Мои товарищи развратничали с горничными, служившими в гимназическом лазарете, а по воскресеньям, когда они уходили в отпуск, они устраивали на частных квартирах настоящие оргии. Это был их любимый род развлечений.

Да, ужасна была атмосфера, в которой мне пришлось провести этот год. Надолго в памяти моей он оставался каким-то кошмаром.

Но были и светлые моменты в моей жизни, — такие светлые моменты, которые давали душе моей отдохновение и силы. Я находил их, конечно, вне гимназии, по воскресеньям.

На воскресенье, как известно, меня брал к себе Михаил Павлович Яковлев. Он знал меня еще ребенком, в Тамбове, и относился почти по родственному. Жена его, Ольга Николаевна, дочь известного хирурга Склифасовского, была женщиной, выдающейся во многих отношениях. Во-первых, замечательная пианистка, ученица Пабста. Во-вторых, женщина умная, образованная, с большой энергией и инициативой. Своих четырех дочерей она воспитывала сама, дома, вплоть до старших классов гимназии. Меня она принимала у себя, как родного, и на всю жизнь осталась для меня одним из самых светлых воспоминаний.

Была еще одна семья в Москве, где я бывал по воскресеньям и где меня так же радушно принимали, — семья Прокофьевых. С девочками Яковлевыми, как бы мило они ко мне ни относились, мне было скучновато. В семье Прокофьевых было четыре юноши, из коих младший, Григорий (впоследствии профессор Московской Консерватории), — мой сверстник и приятель. Гриша не раз приезжал в Тамбов на каникулы гостить у тетки своей, доктора Марьи Саввишны Прокофьевой, сослуживицы отца. Ее домик был рядом с нашим, и мы с Гришей постоянно играли вместе еще детьми.

И тут, у Прокофьевых, в тихом Малом Власьевском переулке, я тоже отдыхал от гимназии.

Но главное, что спасало мою душу в эту тяжелую годину, что наполняло мое духовное существование, было увлечение театром.

МОСКОВСКИЕ ТЕАТРЫ

Театр! Магическое слово! Жизнь фантастическая, жизнь иллюзорная взамен действительной или в дополнение к ней!

Я не знал театральных впечатлений в Тамбове. Подумать только, как бедна была художественными восприятиями провинциальная жизнь. Например, полное отсутствие в нашей провинции того, что называют «изобразительными искусствами». До приезда в Москву я никогда не видал хороших картин, — в Тамбове музеев не было. Вспоминаю, как еще ребенком, лежал я больной в постели, с высокой температурой. Бабушка сидела около меня и развлекала: «Вот, Сергунчик, вырастешь ты большой и поедешь в Москву. Москва — город огромный, заблудиться можно. Народу на улицах масса, все идут и толкаются. Затолкать могут. А ты иди и сам толкайся. Есть там Большой театр и Третьяковская галерея, а в Третьяковской галерее картина есть замечательная, — как Иван Грозный сына убил. Сын лежит на полу и умирает, кровь у него из головы течет. А сам Грозный, — страшный такой, обнимает его и белки выпучил. Замечательная картина»... Я лежал в лихорадке и мне представлялась огромная Москва, давка на улицах и Иван Грозный с выпученными белками.

Вот этими сведениями об Иване Грозном и ограничивались все мои познания по живописи до моего приезда в Москву.

В Тамбове бывали спектакли заезжих артистов. Но все это, повидимому, было ниже минимального художественного уровня, так как в памяти моей ничего от них не осталось. Впрочем, запомнил я одну сцену из «Пиковой дамы», которую я видел в исполнении заезжей оперной труппы: сцену в казарме. Уж очень жуткая сцена сама по себе. Помню, довольно толстый Герман падает на пол, задыхаясь от ужаса, и появляется *она,* старуха, вся в белом, страшное виденье из загробного мира. А в музыке завывает вихрь. Долго потом мне грезилась эта сцена.

В Москве я устремился в театры скоро по приезде. Видел в Малом Садовских, Федотову, Лешковскую, Правдина, Ленского. Все славные были имена. Бывал и в Большом, где слышал Шаляпина и Собинова в «Фаусте».

Но вскоре «влеченье, род недуга» охватило меня по отношению к Художественному театру. В самом деле, это было родом недуга. Всякую субботу стремился я попасть в Художественный театр. На каждом представлении я присутствовал, как на неком священнодействии. Все тут было необыкновенно: и то, что никого не впускали в зал после поднятия занавеса, и то, что артисты не выходили на рукоплескания, и та трепетная тишина, что царила в театральном зале все время спектакля. Много я пересмотрел тогда: пьесы Чехова — «Чайка», «Дядя Ваня», «Одинокие» — Гауптмана с Мейерхольдом и Андреевой, «Микаэль Крамер» с Москвиным и Станиславским, «Извозчик Геншель» с Лужским и Роксановой, «Когда мы мертвые проснемся» с Савицкой и Качаловым, «Юлий Цезарь» с Качаловым (позже я видел многое другое: «Штокмана», «Брандта», «Царя Федора», «На дне», «Синюю птицу», «У жизни в лапах», «Три сестры», «Вишневый сад», «Карамазовых», «Бесы» и др.). Каждый спектакль являлся для меня целым откровением и я жил потом неделями среди воображаемого мира, созданного им во мне. В этом театре я нашел что-то удивительно созвучное себе, — этот способ чувствовать и выражать чувства, казалось, коренился в тайниках моей души. Я словно открывал здесь, на этих спектаклях, самого себя, находил подтверждение смутных, таившихся во мне догадок. За этот год — 1900 - 1901 — я очень вырос духовно и переменился благодаря Художественному театру. Могли ли подозревать Станиславский и его сотрудники, чем были их спектакли для одной юной души, для маленького гимназистика, затерянного в темном зрительном зале и с замиранием сердца следившего за их игрой. Боюсь сказать, было ли это влияние благотворным или болезнетворным для меня. Но оно было во всяком случае огромным и оно давало душе моей ту пищу духовную, без которой мне очень трудно было бы пережить тот тяжелый год. Мейерхольд в «Чайке» и «Одиноких», Станиславский в «Дяде Ване», Москвин и Стани-

славский в «Микаэле Крамере» и т. д., — сколько психологических нюансов, сколько неуловимых оттенков чувств, намеков, предчувствий... Все это я угадывал, все переживал.

Впоследствии я думал, что влияние такого театра было скорее вредным. Оно развивало во мне чрезмерную впечатлительность, пассивность и пессимизм. И в самом деле, ведь Художественный театр никогда не был театром героическим, он не будил энергии, не звал к борьбе, не развивал активности. Он был театром статических переживаний, театром «настроений». И, конечно, иные чувства надо возбуждать в молодой душе.

Но с другой стороны, можно ли требовать от театра столь многого? Может ли театр воспитывать людей в такой мере? Родить в их душе то, чего в ней нет? Не думаю. Я уже указал выше, что меня связало с театром Станиславского какое то непонятное внутреннее сродство, которое я сразу почувствовал.

Так и остался потом, после ряда лет, в душе моей год 1900 — 1901-ый запечатленным двумя рядами параллельных и противоположных переживаний, кошмаром моей реальной жизни в интернате второй московской гимназии и волшебством театральных видений в зале Московского Художественного театра.

ОКОНЧАНИЕ ГИМНАЗИИ

Пришел, однако, конец и моим мученьям. Кончил я гимназию, получил аттестат зрелости, вышел из своей тюрьмы на волю. Уф! Свободен! Гора с плеч. И вот тут сказалась вся горечь пережитого. Вместе со 2-ой гимназией возненавидел я тогда и всю Москву. Как! Оставаться в этом городе, полном мучительных воспоминаний! Еще чего доброго случайно забредешь на Разгуляй и наткнешься там на свою тюрьму. А в университете будешь встречать своих товарищей по 2-ой гимназии. Нет! Поскорей из этих мест! Поскорей все забыть, уехать в другой город, перенестись в иной мир!

Я и сам не ожидал того, как все внутри меня наболело за этот год, как тяжело было сдерживаться, терпеть. И я поступил

в Петербургский университет, стал петербуржцем надолго, на целых двадцать лет.

А между тем, не случись той глупой тамбовской истории, мне суждено было бы стать московским студентом и москвичом. Все мои товарищи по тамбовской гимназии попали в Москву, — то был прямой путь из Тамбова. Так, по воле случая, вся судьба моя пошла по иному пути.

Но вопрос о факультете? Он был решен еще давно, в Тамбове. Мы в нашем товарищеском кругу часто обсуждали этот вопрос. Были советы и со стороны старших, — и разумные советы.

Д-р Щелочилин уговаривал меня идти на медицинский факультет.

«Таким образом вы всю жизнь сохраните в себе научные интересы», — говорил он. Профессор Ринек долго и обстоятельно убеждал меня поступить в Институт Инженеров Путей Сообщения. «Инженеры очень нужны России, — сказал он, — вы всегда будете обеспечены хорошим заработком». Но тогда я менее всего способен был руководствоваться материальными соображениями. С. Н. Слетов советовал всем избрать естественный факультет. «Это даст вам знакомство с настоящим научным методом и привычку к научной работе».

Но и этого совета я не послушал, у меня не было влечения ни к одной из естественно-исторических дисциплин. Впрочем, влечению этому негде было и развиваться, так как в гимназии мы ни одну из них не изучали. И в гимназии, и во внеклассном чтении меня больше всего интересовали история и литература, философия истории и социология. У меня было легкое перо и я хорошо писал сочинения. Таким образом, сообразно моим способностям и склонностям мне следовало бы пойти на историко-филологический факультет. Но что делать потом? Быть учителем гимназии? Да, я хотел бы просвещать молодежь, но я слишком хорошо знал среднюю школу и ее учительский персонал, чтобы рассчитывать на возможность внести свежую струю в жизнь этой школы. Один в поле не воин. Было, кроме того, еще одно решающее соображение: после истории, происшедшей со мной, я несомненно приобрел репутацию политически неблагонадежно-

го в ведомстве Министерства Народного Просвещения. А потому мне невозможно было рассчитывать на получение места учителя. Кроме того, мы все мечтали тогда о широкой общественно-политической работе, — лучшая же подготовка к ней — на юридическом факультете. Там ведь проходят интересующие нас науки, как философия права, государственное право, политическая экономия. Там смогу я изучить свободно и обстоятельно вопросы конституционного права и социалистические учения. А дальше, по окончании университета, открывается дорога в адвокатуру, это самое свободное сословие в русском самодержавном государстве, или в земские и городские учреждения. В итоге всех этих размышлений осенью 1901-го года я поступил на юридический факультет Петербургского университета и начался новый период моей жизни — студенческий.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

(1901 — 1906)

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Петербург произвел на меня новое и необычайно сильное впечатление. Помню, в день моего приезда кузен мой, Борис Какушкин, повел меня по Невскому проспекту, от Николаевского вокзала по направлению к Неве. День был осенний, густой туман в воздухе. Мы шли и из тумана вырастал стройный ряд зданий. Аничков мост и дворец, площадь Александринского театра с Публичной Библиотекой, Гостиный Двор и каланча Городской Думы, Казанская площадь и собор, Адмиралтейство, Зимний дворец и Нева.

Простор Невы еще шире, чем простор Невского. Повеяло воздухом с моря. Дворцы вдоль набережной еще величественней, грандиозней, чем здания Невского проспекта. Бахнула пушка с Петропавловской крепости, заиграли куранты, по бурливой полноводной реке бежали пароходы, тянулись баржи. Простор, стройность, праздничность Петербурга, — все это было новым для меня.

«Вот она столица, вот она Европа, — думалось мне, — да, это совсем другой мир». За год пребывания в Москве я не понял ее, не оценил, не полюбил. Шум, пыль, грязь, узкие, кривые улицы и переулки, — мне представлялась Москва той же провинцией, да побольше, «дистанция огромного размера» — только и всего. Я не понял, что в ней лучше всего отпластовалась история России, что памятников русской старины в ней больше, чем где либо. Конечно, тяжелые переживания в стенах 2-ой московской гимназии играли немалую роль в моих антипатиях к Москве, но я находился также под влиянием модного тогда преклонения перед западной Европой и всем, что хотя бы внешне походило на нее.

ДЯДЮШКА

Я поселился у дядюшки моего, приват-доцента Женского Медицинского Института по кафедре гинекологии и акушерства, Н. М. Какушкина.

Дядюшка — фигура любопытная, на нем стоит остановиться подробней.

Питомец Московского университета, он, по окончании его, вернулся в Тамбов, свой родной город, и сделался ординатором Губернской Земской больницы. Живой, общительный, энергичный, он играл заметную роль в провинциальной жизни. Я его в ту пору, конечно, не помню, а рассказываю понаслышке. Из-за столновения со старшим врачом больницы ему пришлось вскоре уйти со службы и уехать из Тамбова.

Дядюшка был женат на Софье Александровне Горчаковой и имел от нее сына Бориса. Через несколько лет после женитьбы он увлекся сестрой своей жены Верой Александровной, которую уменьшительно звали почему то Капочкой. Так вот с этой самой Капочкой уехал он из Тамбова в Петербург и сделалась она его женой и подругой жизни вплоть до самой ее смерти, в Саратове, в 1920 году. Приехал дядюшка в Петербург без денег, без связей, с одним рекомендательным письмом в кармане, — от профессора Эрисмана из Москвы. Благодаря этому письму ему удалось получить место думского санитарного врача. После десяти лет тяжелого, упорного труда он сумел добиться звания приват-доцента, а впоследствии стать профессором Саратовского университета. От большевиков и ему пришлось претерпеть немало. Невзирая на его 70-летний возраст, он был арестован и на несколько месяцев заключен в тюрьму*). Но, слава Богу, в полученном мамой от него поздравительном письме к Новому (1933) году он писал, что попрежнему полон оптимизма и бодрости. И в самом деле, дядюшка всегда был необычайно энергичен и бодр.

Мой приезд в Петербург можно считать началом нашего с

*) Его подвергли экзамену в «политграмоте». Некоторые резкие ответы его не понравились экзаменаторам и его арестовали.

ним знакомства, ибо до того я его не помнил. Я рассказывал, как в гимназические годы у меня завязалась с ним отвлеченная переписка, которая окончилась неудачно для нас обоих. Жил он на Выборгской стороне, на Большом Сампсоньевском проспекте, против здания Военно-Медицинской Академии. Там то мы и встретились. Вид у него был типично петербургский: небольшого роста, сухощавый, с маленькой бородкой, в пенсне. В особые родственные сентиментальности он не вдавался, однако, очень гостеприимно приютил меня у себя и оказывал покровительство первые два года моего пребывания в университете.

С первых же дней жизни моей у него я поразился его работоспособностью. Он не любил частной практики и у него ее было не много. Зато ему приходилось работать в разных учреждениях и почти целый день отсутствовать из дому. Вечером же он, не теряя минуты даром, усаживался за письменный стол, читал и писал до тех пор, пока не начинал клевать носом; а это случалось с ним не ранее 2-х — 3-х часов ночи. Иногда он так и засыпал за рабочим столом, потом внезапно просыпался и снова принимался за работу. Помимо чтения лекций, работы в качестве санитарного врача и приема в частной клинике, он участвовал в разных медицинских журналах, помещая в них рефераты и статьи. Пописывал он и в общей прессе, но это больше для души, чем для заработка. Он весьма интересовался политикой и общественными вопросами, читал много газет столичных и провинциальных, прекрасно владел пером и газетные статьи у него выходили отличные. Направления дядюшка был левого, так в духе левых кадетов, а из газет предпочитал «Русские Ведомости». Иногда дядюшка, благодаря избытку энергии и широте своих интересов, пускался в области, в которых не был достаточно компетентным, — писал стихи и сочинял музыку для романсов. Но это ему плохо удавалось: ни стихов, ни романсов его к печати не принимали и он удовлетворялся тем, что декламировал свои стихи и пел романсы собственного сочинения перед своими домашними, принимая от них соответственную дань восхищения. Одно время дядюшка так заразился общим увлечением политикой, что стал часто посещать

собрания разных обществ и произносить в них либеральные речи. В общем же он был добродушный и веселый человек*).

НАЧАЛО СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Началась моя странная, как теперь вспоминаю, внутренне одинокая студенческая жизнь. Первые полгода этой жизни представляются мне в весьма поэтическом свете.

Я аккуратно ходил на лекции. Отец платил дядюшке какую то чрезвычайно скромную сумму за мое «иждивение», а мне присылал на мелкие расходы пять рублей в месяц*). При таком бюджете мне приходилось экономить до крайности. Отправляясь утром в университет, я переезжал Неву на пароходике от Военно-Медицинской Академии к Летнему Саду, а оттуда шел по набережной пешком. Как прекрасны, хоть и утомительны были эти прогулки. Над Невой стоял туман, сквозь который едва проникали розовые солнечные лучи. Я шагал вдоль гранитной набережной и любовался величественной перспективой дворцов. В университете я усердно прослушивал пять лекционных часов и тем же порядком возвращался домой. Пообедав, я отправлялся в Публичную Библиотеку. Опять я избирал мой излюбленный способ сообщения — пароходик, который сильно дымил и пыхтел под мостами Фонтанки, пока не выгружал меня у

*) Во время второй великой войны дядюшка состоял профессором Харьковского университета. Никакой переписки у меня с ним, конечно, не было, а 8-го февраля 1947 года я получил письмо от сына его, доктора Бориса Какушкина, моего кузена, находившегося в это время в Мюнхене. Он писал мне следующее: «Жить в Харькове русским при немецкой оккупации было очень плохо. Победители обращались с населением, как с «унтерменшами», ничего не давали есть, не давали работать и т. д. Три профессора, в числе их папа, послали немцам «меморандум». В нем ничего особенного не было, просто была просьба не обращаться с людьми, как со скотами... После того всех трех профессоров увезли. С папой увезли его жену, прислугу и какую-то девицу, жившую у него. С тех пор, вот уже пять — шесть лет, никаких сведений об них нет»...

Так трагически кончил свою жизнь мой беспокойный дядюшка. Ему было больше восьмидесяти лет.

*) Хотя эти пять рублей я неоднократно получал с почты в виде новенького золотого, все же могу сказать про себя, что воспитывался я «на медные деньги». Отец был совсем небогат.

Аничкова моста. Оттуда легко было дойти по парадному Невскому до Публичной Библиотеки.

Блаженные часы в Публичной Библиотеке, в прекрасной петербургской публичной библиотеке, этом храме мысли, в который я входил тогда с некоторым благоговением. Там было и тепло, и светло, и как то легче сосредоточивалась мысль. Я проводил там часа два — три, а вечером посещал театры или интересные собрания. Все было внове мне, провинциалу, и лекции, и театры. Рядом с Публичной Библиотекой помещался Александринский театр, куда я ходил часто, платя за место на галерке — 7 копеек! И за эти семь копеек я смотрел пьесы Гоголя и Островского в первоклассном составе: Савина, Давыдов, Варламов, Сазонов, Стрельская, Далматов, И Каммиссаржевская!

После такого с избытком наполненного впечатлениями дня я возвращался домой изрядно усталым, но счастливым. Да, эти первые полгода моей студенческой жизни были самым приятным, самым счастливым ее периодом. Заниматься я не умел, занимался я бестолково. Преподавание в университете было слишком свободным, к такой свободе мы не были подготовлены. В гимназии мы мечтали об этой свободе. Мы представляли себе, что университетская наука совсем особая и она сразу откроет нам неведомые горизонты. Мы входили в университет со священным трепетом и когда профессор, начиная лекцию, обращался к нам: «Милостивые государи!» — сердца наши невольно преисполнялись гордостью. Свобода преподавания простиралась до того, что можно было посещать любую лекцию на любом факультете, и я помню, как вначале я бродил по разным факультетам и, кроме своих юридических предметов, слушал на филологическом — историю у Платонова, философию у Введенского, и в то же время на естественном — физику у Хвольсона и химию у Меншуткина. Впрочем лекции по естественнонаучным предметам я посещал недолго, некоторые же предметы на филологическом, как история и философия, слушал и в последующие годы.

На первом курсе юридического факультета самыми интересными лекторами были проф. Петражицкий, по энциклопедии

права, и Сергеевич, по истории русского права. Предметом, который особенно интересовал нас, молодежь того времени, была политическая экономия, но он читался неважно профессором Георгиевским и аудитория последнего быстро поредела. Зато аудитория Петражицкого была всегда переполнена. Этот маленький, худенький, белобрысый полячок, с внешней стороны читал плохо, выговаривал с акцентом, конструировал фразы неправильно, но его логический анализ был так глубок и так тонок, что следовать за его мыслью было для нас, его слушателей, истинным наслаждением*).

Сергеевич, знаменитый ученый, считался мастером слова, — сухую материю, изложение юридических памятников древней Руси, он умел оживлять историческими и бытовыми подробностями и пояснениями.

Так постепенно погружался я в научную атмосферу университетской жизни, проводил время между слушанием лекций и чтением книг, и сладостным казалось мне такое времяпрепровождение, такое погружение в чистую науку. Я еще не отдавал себе отчета в том, насколько правилен и плодотворен такой метод занятий, я переживал розовую эпоху начала университетской жизни. Мне верилось, что все мои университетские годы протекут в тех же условиях, в том же настроении, и я радовался этому. Но так протекло лишь первое полугодие, потом горизонт омрачился и мой розовый туман рассеялся. Я всегда впоследствии с сожалением вспоминал об этом первом периоде моей петербургской жизни и считал его наиболее нормальным, наиболее здоровым в смысле отношения к университетским занятиям. Вероятно, с таким настроением учились и учатся и сейчас студенты в Западной Европе, в разных уютных университетских городах Германии и Англии. Но нам помешали специфические русские условия того времени.

Вскоре начались так называемые студенческие «беспорядки», то есть сходки и связанные с ними волнения. Не помню, что

---

*) Проф. Петражицкий после большевистской революции поселился в Варшаве. Крупный ученый, с большим именем за-границей, он имел там и работу и положение. И однако он не мог примириться с происшедшей в России катастрофой и покончил с собой.

послужило поводом для первых сходок, но дальнейшие события развивались сами собой: репрессия против активных участников сходок влекли протесты против этих репрессий, за ними следовали новые репрессии и т. д. Студенты гордились своей ролью «чуткого барометра» общественных настроений и в своей резолюции, вынесенной на одной из самых многолюдных сходок заявляли, что они являются «ферментом разложения абсолютно-бюрократического строя».

ОБСТАНОВКА И ХАРАКТЕР УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Мне очень не повезло в смысле университетского обучения: я попал в самую неспокойную эпоху, — годы 1901 — 1905, — накануне первой революции. Беспорядков было много, — я теперь всех подробностей не помню. Были драки внутри университета у студентов с педелями, разгонявшими сходки, и с немногочисленными представителями правых студенческих организаций, — «белоподкладочниками», как их называли. Выносились беспорядки и на улицу в форме демонстраций у Казанского собора, на Невском, где студентов поколотили казаки и полиция, а часть их и заарестовали. На эту тему на студенческих вечеринках пелись частушки:

Нагаечка, нагаечка, нагаечка моя,
Ты вспомни, как гуляла восьмого февраля.

8-ое февраля — день университетского праздника и он совпал с демонстрацией. Арестованных студентов отправляли в манеж. По этому поводу в частушках пелось:

Как мне жалко ту курсистку,
что со мной в манеж пошла.
Отворите ей темницу,
дайте ей сиянье дня.

У арестованных производились обыски и при этом:

Квартир триста обошли,
Сицилиста не нашли.
У студента под конторкой
Найдена бутыль с касторкой.
Динамит не динамит,
А при случае палит.

Издали, после стольких грозных событий, кажется теперь все это таким невинным и несерьезным. Но иногда последствия сходок бывали тяжелыми. Запомнилась мне одна сходка, где приятель мой, К. А. Горбунов, человек с кавказским темпераментом, бросал какими то, попавшимися под руку предметами, в университетских педелей. За это Горбунов был отдан на два года в солдаты и университета так и не кончил. Впрочем, впоследствии он превратился в мирного и усердного чиновника Государственного Контроля.

Во времена студенческие Горбунов писал стихи, которые даже печатались в журналах, и выступал на студенческих вечерах с чтением этих стихов. Выступления его производили немалый эффект, тем более, что стихи его были с левым уклоном. В одном из них, которое он читал особенно часто, изображался горный поток и строфа, кончавшаяся словами: «и бурно влево помчался он!» — всегда вызывала оглушительные аплодисменты публики. Читал он также имевшее шумный успех стихотворение Мельшина: «Девятый вал», стихи поэтессы Галиной: «Лес рубят, молодой зеленый лес» и другие в том же роде. Немного нужно было тогда, чтобы вызвать энтузиазм у публики.

О спокойном занятии наукой нечего было и думать в такую эпоху. Студенты, принадлежавшие к крайним левым партиям, проповедывали, что заниматься чистой наукой в то время, когда угнетенный народ борется за свободу и когда наши товарищи отданы в солдаты, безнравственно. Мы должны протестовать и побуждать общество к протесту. Проповедь эта имела успех, студенты продолжали волноваться, а левое общество, —

интеллигенция, — за это их хвалило и возносило. Таков был дух времени.

Почему я избрал юридический факультет, я объяснял уже раньше. Я готовил себя к того или иного рода общественной деятельности и в науках, преподаваемых на этом факультете, я надеялся найти разрешение интересовавших меня политических и социальных вопросов. Но то, что я нашел в университетском преподавании, меня охладило и разочаровало. Я, ведь, не был знаком до того с методами научного преподавания, не было у меня привычки и к научной работе. К сожалению, на юридическом факультете нас этому тоже не учили. Можно было слушать лекции, можно было и не слушать их. Необходимо было лишь вызубрить учебник или курс лекций к экзамену и ответить по случайно вытащенному билету. В программе значились кое-какие практические занятия, по римскому праву, например, но они были поставлены крайне неинтересно и никто их не посещал. Не представлял я себе хорошенько и того, что мне необходимо для будущей моей практической деятельности, а потому занятиям гражданским и уголовным правом уделял слишком мало времени и внимания. Правда, я посещал лекции проф. Дювернуа, который читал свой предмет блестяще, хотя и не в полном объеме курса. Слушал я и лекции талантливого проф. Покровского по римскому праву, но всего этого было крайне недостаточно для настоящего ознакомления с проблемами и методами гражданского права. Для этого необходимы были, кроме того, практические занятия и при том обязательные практические занятия, — чтение рефератов, обсуждение казусов и постоянный действенный контроль профессоров в нашей студенческой работе. Преподавание в университете было слишком свободным, а профессора очень далеки от студентов. Предоставленные самим себе, мы тратили наше драгоценное учебное время, кто как умел и хотел. Усиленная зубрежка начиналась примерно за месяц до экзаменов, и надо еще удивляться, как мы их выдерживали. Впрочем, были среди моих товарищей и такие, которые, при несомненных способностях, бросали университет

из-за неумения работать самостоятельно, распределять время и занятия и проверять самих себя. Да и в самом деле то было не легко.

Кроме того, и внешняя обстановка занятий не всегда была благоприятной. Уже со второго года студенческой жизни я уехал от своего дядюшки и снял комнату на Васильевском острове, на одной из отдаленных линий его. Хозяйкой у меня была аккуратная чухонская вдова, которая все время вела борьбу, довольно безуспешную, с моим соседом по комнате, типом весьма неприятным. С утра он был смирным, но целый день дул пиво и бренчал на гитаре и, мало-по-малу, делался все шумней и скандальней. К вечеру же он становился совершенно пьян и начинал буянить, кричать, лезть к хозяйке и ко мне. Сидишь, бывало, в своей комнате и силишься сосредоточить внимание на сухих материях римского или иного права и уложить их в порядке в свою голову. А тут рядом, за стеной, шумно скандалит жилец или бренчит на гитаре, на дворе хрипло выводит свою мелодию старая шарманка, а по коридору носится с визгом и криками семилетняя девчонка, дочь хозяйки. Не надолго тут хватит терпения, — схватишь шапку и бежишь вон. В таких чисто русских условиях жили, ведь, большинство студентов; а то еще и в худших.

Единственный на нашем факультете, кто, вразрез с установившейся системой преподавания, стремился сблизиться с студентами и помочь им в их работе, был приват-доцент В. В. Святловский. Он организовал кружок политической экономии, близко знакомился со студентами, вступившими в его кружок, приглашал их к себе на дом, снабжал их научной литературой из своей очень обширной библиотеки, помогал в выборе тем рефератов и в работе над ними. Он всячески старался заинтересовать и поощрить студентов в их работе, издавал сборники работ кружка, лучшие работы отдавал для напечатания в журналы, на заседания кружка приглашал видных специалистов по отдельным вопросам для участия в прениях. Кроме чтения рефератов и обсуждения их мы посещали с ним фабрики и заводы для более близкого и наглядного ознакомления с экономическими вопросами.

Владимир Владимирович, — ныне покойный и тоже немало пострадавший от большевиков, — относился к нам очень хорошо и вел себя с нами, как старший товарищ. Некоторые из его коллег обвиняли его в том, что он «ищет популярности» среди студентов, но если он и искал эту популярность, то, во всяком случае, способами, которые заслуживали всяческого подражания. Он был человеком очень больших способностей и знаний и, близко работая под его руководством, я впервые понял, как много требуется от настоящего научного работника и как эта работа должна вестись.

ЯКОВ ИВАНОВИЧ ДУШЕЧКИН

Когда я приехал в Петербург, у меня там никаких связей и знакомств не было. У дядюшки мне ни с кем познакомиться не пришлось, так как у него никто не бывал. Объяснялось это отчасти свойством его характера — некоторой суховатостью — и занятостью, а главным образом характером его жены. Вера Александровна или Капочка, как ее называли, особой интеллигентностью не отличалась и привлечь какое нибудь общество к себе в дом не умела. Она окружала себя подругами крайне провинциального типа, которые ее хвалили и ею восхищались. Других знакомств она не признавала. С дядюшкой они жили весьма нежной супружеской парой, но дядюшка иногда позволял себе маленькие амурные шалости, за которые платился жестоко, в случае их обнаружения, ибо Капочка была очень ревнива и несдержанна. При ее истеричности проявления ревности у ней были чрезвычайно бурными. Впрочем все эти бурные сцены кончались нежными примирениями, — они прожили вместе почти целую жизнь и после ее смерти, в Саратове, дядюшка был долгое время искренне и глубоко огорчен.

В поисках друзей и знакомых я, на первых порах, естественно, обратился в сторону своих земляков тамбовцев. Одним из них был известный педагог, Яков Иванович Душечкин.

Яков Иванович не был, собственно, тамбовцем. Он происходил из Боровичей, Новгородской губ., что и сказывалось в его

характерном говоре. Отец его, лесоторговец, выглядел совсем как новгородский мужик, да и сам Яков Ив., по внешнему виду и по складу ума, походил больше на жителя новгородских лесов, чем на петербургского интеллигента. В противоречие со своей фамилией, звучащей так женственно и нежно, Як. Ив. был мужчиной высокого роста, — косая сажень в плечах, с окладистой, русой бородой, — эдакий огромный неуклюжий медведь, с умными хитрыми глазами, с широким, добрым российским лицом (типа Александра III).

Кончил он Учительский Институт и сделался педагогом по призванию, одним из известнейших русских педагогов, — специалистом по начальному образованию. Он всегда играл видную роль в учительских союзах и на учительских съездах. Направления он был «левого», впоследствии примкнул к партии нар.-соц., — а потому вскоре по поступлении на службу по Мин. Нар. Просв., каковую он начал в родном ему Новгороде, принужден был эту службу оставить. И вот тогда он приехал в Тамбово, получив там место директора Земского сиротского дома. Я в то время был еще гимназистом, а так как в Сиротском доме жил и воспитывался мой большой приятель Костя Жиров, то посещая его там, я познакомился и с Як. Ив.

Душечкин, своим либеральным образом мыслей и простотой дружеского обращения со своими питомцами, выгодно отличался от педагогов казенной гимназии и быстро завоевал симпатии молодежи. В Тамбове он томился, пробыл недолго и при первой возможности перебрался в Петербург, где получил в свое заведывание одну из городских школ. У Як. Ив. можно было встретить интересных людей, — либеральных профессоров, писателей, педагогов и земцев, и я стал усердным посетителем его вечерних чаепитий.

Как истый педагог, Я. И. всегда стремился душой к молодежи и не только охотно принимал меня у себя и запросто, на равной ноге, беседовал со мной, но и предложил мне образовать небольшой кружок для совместного чтения и изучения ... Ницше, который почему то интересовал его в ту пору. В кружок этот вошли, кроме него и меня, еще две сестры его, курсистки Бестужевских курсов, и еще несколько человек его знакомых. Со-

бирались мы, читали, реферировали Ницше, но разбирались в нем туго. Як. Ив. увлекался, растолковывал нам его по своему, иногда интересно, но, повидимому, голова его не была изощрена в философских тонкостях и, как мне кажется, идеи Ницше он представлял себе в значительно упрощенном виде.

Помимо собраний нашего ницшеанского кружка, сравнительно редких, я продолжал бывать на его чаепитиях. Хозяин он был радушный, сиделось у него за самоваром уютно, разговоры велись на разные интересные темы и ничем не напоминали пустую светскую болтовню.

Интерес к Ницше мало вязался с грузной, добродушной фигурой Якова Ивановича. Еще меньше, казалось бы, могло быть что либо общее между ним и ... Императорским балетом. И, однако, нашлось нечто, их объединившее, — такова особенность тогдашнего времени.

С некоторых пор стали появляться у него какие то молчаливые, корректные молодые люди, которые внимательно и почтительно прислушивались к происходившим разговорам. Они оказались балетными артистами. Громких имен среди них не было. Запомнились мне: Медалинский, Иванов, Пантелеев. Что же привело их к Як. Ив-чу? А вот что: среди балетной труппы Мариинского театра возникла мысль устроить народную школу и взять ее на свое попеченье, — таково было веянье эпохи. Вот и направились они за советом к Як. Ив-чу, как знатоку этого дела. Я. И. горячо ухватился за их идею и вскоре учреждено было общество по устройству Гребловской народной школы, Новгородской губ. (по имени села). Инициаторами этого дела были молодые артисты, но им удалось привлечь в свое общество и кой кого из знаменитостей. Председателем согласился быть сам К. А. Варламов, а вице-председателем избран был Яков Ив. Если память меня не обманывает, деятельной участницей общества была и О. О. Преображенская. Раз в году артисты получали разрешение на устройство спектакля в пользу их школы, что и давало средства на продолжение этого дела.

Славный человек был Яков Иванович. До сих пор стоит перед глазами его широкое, рассейское, добродушное лицо, с хитренькой «мужицкой» усмешкой, которая часто появлялась у

него, когда с ним вели шутливые разговоры. И этот человек, вышедший из народа, всей душой преданный делу народного образования, лишенный всяких корыстных интересов, — и он погиб от руки большевиков. Он умер от сыпного тифа в одном из концентрационных лагерей, куда был заключен неведомо за что еще в первые годы большевистского владычества.

В. А. И Ю. И. ГЕРДЫ

Как во внешнем облике, так и в жизненных привычках Якова Ивановича было много провинциального. Другой замечательный педагог того времени, — Владимир Александрович Герд, казался, напротив, больше европейцем, чем русским. Его дед был выходцем из Англии, а отец, знаменитый естествовед и педагог, был одно время преподавателем у детей Императора Александра III. Влад. Алекс. был женат на своей кузине Юлии Ивановне, дочери Ивана Яковлевича Герд, тоже известного педагога, преподавателя в военно-учебных заведениях. Иван Яковлевич так же, как и Душечкин, был одно время директором Тамбовского Сиротского Дома, откуда и пошло у меня знакомство с семьей Гердов.

Сестра Влад. Алекс-ча, — Нина Ал., вышла замуж за П. Б. Струве, — таким образом установилось родство между семьями Гердов и Струве. Влад. Ал. унаследовал от отца как любовь к естествознанию, так и педагогическое призвание. Учился он в Агрономическом Институте, по окончании коего служил некоторое время агрономом в одной из приволжских губерний. Но когда я познакомился с ним, он стоял уже во главе знаменитой Стоюнинской гимназии, лучшей женской гимназии в Петербурге.

Во внешнем облике Владимира Алекс-ча не было ничего примечательного. Сухощавый, среднего роста, спутанная рыжая борода, шевелюра в беспорядке, а за стальной оправой очков — прищуренные добрые глаза. Юлия Ивановна — маленькая, худенькая женщина, с большими, черными, печальными глазами. Оба импонировали своей душевной чистотой и прямотой,

они неспособны были ни на какой нравственный компромисс. Казалось непонятным, как могло это им удаваться в русских политических условиях. И однако удавалось. Помню такой случай. В печальной памяти день 9 января 1905 года Юлия Ивановна шла по Невскому с молодой девушкой, Лизой Сорокиной, которая проживала в то время у них в семье. Около Большой Конюшенной они угодили под залп, данный солдатами по толпе, и Лиза Сорокина была ранена в живот. Юлия Ивановна, вне себя от негодования, отделилась от толпы, быстро подошла к офицеру, командовавшему взводом солдат, и крикнула ему в лицо: «Как вам не стыдно! Эти люди (она указала на солдат) ничему не учились и ничего не понимают. Но вы то должны понимать, что вы делаете». Офицер был так смущен нравственной силой этой маленькой женщины, что только пробормотал ей в ответ, чтобы она поскорей уходила прочь.

У Влад. Ал. было два сына, — мальчики еще в ту пору, когда я с ним познакомился и жил у него. Он очень любил их и живо интересовался их воспитанием и развитием. Воспитывал он их на особый, нерусский лад, вел с ними длинные беседы в очень серьезном тоне, как со взрослыми людьми. Они и производили особенное впечатление тем, что непохожи были на русских детей; не было в них русской избалованности, разгильдяйства и лености, — качества, которые часто приходилось наблюдать в русских семьях. Старший, Шура, имел прямой, открытый, порывистый характер. Младший, Сережа, производил трогательное впечатление: маленький, светловолосый, с круглой, аккуратной мордочкой, он, к несчастью, совсем плохо слышал. Иногда, сидя за столом в большой компании, он беспомощно обращался к отцу с вопросом: «Папа! Почему все так смеялись? Кто нибудь сказал смешное? Что такое?» И отец, повышая голос и любовно склоняясь к нему, объяснял, в чем дело.

Может быть, именно под влиянием недостатка слуха он так любил погружаться в книги. Малыш интересовался естествознанием. Отец поощрял в нем этот интерес и ходил с ним на ботанические и энтомологические экскурсии в Удельнинский парк. Часто Сережа сидел, углубившись в естественно-истори-

ческий атлас, — огромная толстая книга, которая казалась больше его самого.

Никакого светского элемента в воспитании детей конечно не было, — Герды были слишком демократичны для этого, — а между тем в мальчиках чувствовалась всегда подтянутость и сдержанность. Хорошее влияние оказывала на них и бабушка, мать Вл. Ал-ча, жившая с ними. Я слышал, например, как она внушала им, что насмешничать и отшучиваться никогда не следует, а надо отвечать на вопросы всегда прямо и определенно, без хитростей и уверток. В. А. любил свою семью, в ней была его жизнь, а вместе с тем Герды никогда не оставались у себя дома одни. У них всегда был кто нибудь в гостях, — вечное круговращение людей. Если же чудом в какой нибудь вечер не приходили посторонние, то и «своих» было много. У них постоянно кто либо проживал на иждивении. Больше всего у них жило разной молодежи, — провинциалы, приехавшие в столицу учиться, либо сироты, которым некуда было деваться. Попадали они к Гердам по чьей либо просьбе или рекомендации, а те брали всех, кого могли поместить у себя, по доброте своей и по присущему им интересу к молодежи.

Вл. Ал. трудился с утра до вечера, — преподавал в гимназии, давал и частные уроки. Юлия Ив. тоже давала уроки. Вся жизнь их состояла в постоянном труде. Я не помню, чтоб они чем нибудь развлекались, ходили в театр или к знакомым. В жизни их не было абсолютно ничего, что походило бы на обиход жизни буржуазной семьи. Я. И. Душечкин любил удовольствия, любил послушать хороший концерт, — мы вместе с ним неистовствали на концертах Никиша и Гофмана, — любил даже иногда в винт поиграть. Герда нельзя было себе представить за картами. Он вечно спешил, вечно был занят. Если выдавался свободный вечер, он с удовольствием оставался дома и вел беседы с молодежью, которая всегда толпилась у них. И это не была болтовня, а именно беседы, споры на политические и общественные темы. Вл. Ал. всегда говорил с молодежью, как с равными, спорил искренне, горячо, веско.

Бывали и сентиментальные моменты: они с Юлией Ив-ой любили пение молодежи и мы затягивали для них хором, а иногда

пели и соло, но без всякого аккомпанимента, так как у них не было инструмента. Помню, что из моего репертуара у них особенным успехом пользовался романс Мусоргского: «Комнатка тесная, тихая, милая», — я должен был иногда повторять его для них по нескольку раз подряд. Почему им полюбился именно этот романс, я до сих пор объяснить себе не могу, но в памяти моей он связан всегда с ними.

Их потребности в комфорте были самыми скромными, ни на еду, ни на одежду они не обращали внимания. Как курьез запомнился мне случай, когда Вл. Ал., спеша на учительский съезд, забежал по дороге в магазин готового платья и купил себе, в поспешности, такой мешковатый костюм, что на него нельзя было смотреть без смеха. Впрочем, Вл. Ал-ча смех наш нисколько не смутил и он лишь подвернул себе брюки, которые были слишком длинны. Жили они в небольшой деревянной дачке на Удельной и мне трудно себе представить их живущими в городе, — до того это не вязалось с их любовью к свободе и привычками жизни. На Удельной, вне всякого надзора дворников, швейцаров или полиции, они могли жить, как хотели. По политическим убеждениям своим они были «левыми», но в партиях, я думаю, не участвовали. В доме своем они, во всяком случае, давали приют всем, без различия направлений. Тут происходили нередко собрания различных студенческих организаций, но были и заседания, посвященные докладам на научные и общественные темы. Помню, читал я там как то доклад о Михайловском, вызвавший оживленные прения. Вл. Ал. остался очень доволен моим докладом, но присутствовавший на нем П. Ф. Якубович-Мельшин яростно обрушился на меня за то, что я осмелился философско-исторические взгляды его кумира, Михайловского, сопоставить с некоторыми взглядами «идеалиста» Н. А. Бердяева. Боже мой, какие громы и молнии обрушил на меня Мельшин за такое кощунственное сравнение! Я был очень смущен, но Вл. Ал. взял слово в мою защиту и ободрил меня своей поддержкой.

Одновременно с Гердами на Удельной проживали многие интеллигентные семьи, т. к. жизнь там была дешевле, и, как я указал, можно было пользоваться относительной свободой. Жили

там, между прочим, семьи Мельшина, П. Н. Милюкова, П. Б. Струве и другие. Вл. Ал., воспользовавшись этим, организовал у себя свободную первоначальную школу, где вместе с его мальчиками учились и дети вышеназванных лиц.

У Гердов я познакомился с К. А. Мельницким, который в то время был активным членом партии с.-р. С Мельницким они были тогда в большой дружбе, а впоследствии и я сдружился с ним.

Вл. Ал. в пору моего студенчества очень хорошо относился ко мне. Я даже жил у него на Удельной в течение нескольких месяцев. Когда я окончил университет и избрал себе профессией адвокатуру, он был недоволен, так как не любил этой профессии. Тем не менее он дал мне рекомендательные письма к нескольким видным петербургским адвокатам.

Прошло несколько лет. Я женился, поступил в адвокатуру, с головой ушел в обучение адвокатскому ремеслу и — как то отошел от Гердов.

За эти годы в жизни России произошло много важных политических событий и перемен, из коих важнейшим было дарование конституции и учреждение Государственной Думы. Дожили мы затем и до великой войны 1914 года, а вслед за ней и до революции 1917 года.

Все эти политические события не могли не отразиться на моем миросозерцании. Отразились они и на психологии нашего общего друга К. А. Мельницкого, который из ярого революционера превратился в гораздо более умеренного человека. Может быть, тут влияло и то обстоятельство, что он достиг более зрелого возраста и ему захотелось попользоваться, наконец, некоторыми благами жизни, в которых он до тех пор себе отказывал. Благодаря своей энергии и способностям он получил выгодное место управляющего домами княгини В. В одном из этих домов он сдал квартиру своим старым друзьям Гердам. Но поселил он их там себе на горе, — они ведь остались такими же непримиримыми идеалистами и демократами.

Вскоре Юлия Ивановна стала упрекать его в том, что он заставляет дворников носить по этажам тяжелые вязанки дров на своей спине, тогда как жильцы поднимаются в лифте. Необхо-

димо устроить лифт и на черной лестнице для прислуги и дворников. Такому желанию Юлии Ивановны нельзя отказать в гуманности и справедливости, но переделка домов и устройство лифтов зависело не от Мельницкого, а от домовладельца. Однако Юлия Ивановна не хотела признавать никаких резонов и постоянно спорила с Мельницким по этому поводу. Дома княгини В. на Забалканском проспекте хоть и были каменные, с центральным отоплением и разными удобствами, но все же не лишены были некоторых недостатков. Как всюду бывает, иногда что нибудь портилось, нужны были починки и переделки, на которые хозяева идут обыкновенно неохотно. Во всех таких случаях жильцы обвиняют управляющего, а Герды не только присоединялись к этим обвинениям, но были особенно требовательны и протестовали особенно резко. Они, ведь, не признавали в своей жизни никаких компромиссов и того же требовали от других. Если хозяин не желает переделывать своих домов и заставляет жильцов терпеть разные неудобства, значит он недобросовестный эксплоататор и надо отказаться от службы у такого лица. Но сделать это Мельницкому было не так легко. Его хозяева предоставили ему в пользование большую квартиру, в которой он жил со своими детьми, а также поселил некоторых из своих родственников, коим он должен был оказывать помощь. Второе такое место ему трудно было бы найти; да он и не видел никаких оснований, чтобы отказываться от этого места. Так понемногу между ним и Гердами назревал конфликт, который привел их противниками в залу суда.

Под влиянием Герда жильцы дома потребовали составления протокола, обвиняя Мельницкого в разных строительных и санитарных нарушениях.

Протоколу был дан ход и Мельницкий был вызван в мировой суд. Он обратился за защитой ко мне. В камере мирового судьи встретился я с Гердом, который явился главным свидетелем по делу и произнес горячую обвинительную речь. Еще до начала заседания у нас произошел с ним любопытный разговор. Вл. Ал., взволнованный, подошел ко мне и, со свойственной ему прямотой и резкостью, спросил: «Как вы могли взяться защищать Мельницкого?»

«Вы знаете, что он мой приятель, — был мой ответ, — я не мог отказать ему, но я пришел не для того, чтобы обелять его во что бы то ни стало, а чтобы выяснить на суде, в чем его вина с точки зрения уголовного закона. Ведь к нему предъявлено уголовное обвинение». Влад. Ал. несколько смутился. «Но мы хотим главным образом морального осуждения», — сказал он.

По недавнему закону Временного Правительства в состав Мирового Суда введены были тогда представители рабочих и мировой судья заседал не один, как прежде, а с двумя ассистентами-рабочими, которые при решении дела имели, таким образом, большинство голосов. Вл. Ал. был в восторге от участия рабочих в составе суда. Я объяснил ему, что, по наблюдениям судей и адвокатов, это нововведение, обязанное инициативе Кереиского, дало весьма плохие результаты в смысле правосудия. Рабочие оказались невежественными и пристрастными судьями и второй инстанции приходится часто менять их решения. К сожалению, есть дела, в которых они решают безапелляционно.

Вл. Ал. конечно не согласился со мной и выразил уверенность, что рабочие скоро привыкнут к новой роли и заткнут за пояс профессиональных судей. Участие рабочих в суде отразилось неблагоприятно на судьбе Мельницкого. Несмотря на заключение эксперта-архитектора, что в действиях его нельзя усмотреть никаких упущений, ни нарушений закона, суд приговорил его к маленькому штрафу. Произошло это, как я узнал впоследствии, по настоянию рабочих, которые под влиянием речи Герда настаивали во что бы то ни стало на осуждении Мельницкого. Вл. Ал. вышел из суда, очень довольный и судьями, и приговором.

В дальнейшем мне приходилось встречаться с ним редко и встречи наши были мимолетны. Большевистская революция застала его в должности директора школы для детей рабочих на Путиловском заводе. Конечно, должность эту он занял по собственному желанию и я уверен, что дело это он вел со свойственным ему талантом и увлечением.

Слышал я потом, что старший сын его вступил в коммунистическую партию и что это обстоятельство причинило ему немало огорчений. Конечно, со своей культурностью, гуманностью и

свободолюбием Герды никак не могли сочувствовать большевистской власти.

Владимира Александровича в настоящий момент уже нет в живых. И этот искренний народолюбец и талантливый деятель народного просвещения погиб преждевременно в ссылке, в Твери, сосланный туда большевиками. Я узнал об этом из газет, прочтя в августе 1926 года некролог, написанный П. Б. Струве и содержащий характеристику покойного.

Также из газет узнал я, что Юлия Ивановна скончалась в Петербурге 30 ноября 1933 года. От родственников же ее я слыхал, будто она покончила с собой, не имея больше нравственных сил жить под советским режимом.

К. А. ГОРБУНОВ И МОЯ РАБОТА В «ТОВАРИЩЕ»

Я уже упоминал о моем приятеле Горбунове. Мое знакомство с ним также началось с Тамбова. Он был женат на тамбовской уроженке Е. Н. Ефремовой и приезжал в Тамбов справлять свадьбу. Тут я с ним и познакомился. Константин Арсеньевич считал себя кавказцем, так как родился и провел детство в Пятигорске. Звал он меня как то туда к себе в гости, а я не поехал, — тяжел был на подъем. Был и другой случай для меня побывать на Кавказе: мой товарищ по университету и адвокатуре князь Геловани (впоследствии член Государственной Думы) пригласил к себе в именье целую группу коллег-адвокатов. Коллеги звали и меня присоединиться к их экскурсии. Они совершили чудную поездку, часть пути прошли пешком по горам, а князь Геловани принимал и чествовал их со всей широтой кавказского гостеприимства. И этот случай я упустил, по своей провинциальной косности, да так и не повидал Кавказа, этой «жемчужины в Российской короне».

Горбунов был горячим кавказским патриотом и, как я рассказывал, на студенческих сходках проявлял неумереный «кавказский темперамент». Будучи «левым» студентом, да еще поэтом, и имея при этом эффектную внешность, Горбунов был радушно принят в писательских кругах Петербурга. Он бывал на обедах у самого Н. К. Михайловского, среди заправских ли-

тераторов, что чрезвычайно поднимало его ореол в наших глазах. Участвовал он и на писательских банкетах, которые носили тогда политический характер. На один из таких банкетов он привел и меня и я, разиня рот, слушал там горячие и свободолюбивые речи разных знаменитых писателей, которых воочию и так близко мне до того видеть не приходилось. Незадолго до революции 1905 года, когда возбужденное настроение общества выражалось в разных резолюциях и адресах, принимаемых на собраниях и банкетах, профессор Ходский основал в Петербурге газету «Товарищ».

Это была первая газета, которая заговорила более смелым языком и потому имела большой успех. В редакции ее принимали участие левые литераторы, как Богучарский, Прокопович, Хижияков, Кускова. В состав редакции входил и К. И. Диксон, тоже известный журналист. состоявший в дружеских отношениях с Горбуновым. Диксон привлек в газету Горбунова, а Горбунов, в свою очередь, устроил меня на работу в хронике. Тут впервые я ознакомился близко с работой в газете и соприкоснулся с миром маленьких газетных сотрудников, — хроникеров. То, что я увидел, меня, робкого провинциала, оттолкнуло. Сильная конкурренция, погоня за сенсациями, скачка с препятствиями, чтобы раньше принести известие о большом пожаре или смелом воровстве, пререкания, а иногда и ругань с заведующим хроникой из-за количества строчек, — все это было мне не понутру. Правда, мое положение было особым, мне поручено было писание отчетов о заседаниях Юридического общества и публичных лекциях и докладах юридического характера. Но меня все равно скоро бы затерли там, если бы не очень милое отношение ко мне со стороны заведующего хроникой Неманова. Ему даже приходилось выслушивать упреки за то, что он мало сокращает мои, иногда слишком специальные для общей прессы, отчеты. Работа в газете была для меня подсобным заработком, я смотрел на нее, как на нечто временное, и мало ею дорожил. Как то раз я рискнул написать статейку по поводу недавно перед тем опубликованных правил для студентов. К великому моему изумлению, я увидел через несколько дней свое произведение на первом месте, в качестве передовой статьи. Но

и этот успех не поощрил меня к дальнейшему писанию статей.

Помню, как на одном заседании Юридического общества, происходившем в зале Тенишевского училища, опальный профессор государственного права М. И. Свешников читал доклад о свободе печати. Популярная тема и имя докладчика привлекли в заседание массу молодежи. Во время доклада возник инцидент: докладчик ли сказал что либо лишнее, с полицейской точки зрения, или из публики послышались возгласы, непонравившиеся полиции, — во всяком случае, в результате этого инцидента полиция прервала доклад, закрыла собрание и удалила публику. При этом возникла стычка у молодежи с полицейскими, были аресты, были даже раненые.

Я, по долгу службы, немедленно по закрытии собрания отправился в редакцию давать отчет. В редакции на ночном дежурстве я застал как раз самого редактора, проф. Ходского, — маленького, сухенького человечка, чиновного типа. Он читал в университете политическую экономию и был весьма умеренным по своим политическим взглядам. Я с возможным беспристрастием изложил редактору ход этого заседания и заключительный инцидент, а он предложил мне немедленно же написать и сдать в печать то, что я ему сообщил. В то время как я писал свой отчет, в редакцию вбежал в страшном волнении В. В. Хижняков и возбужденно стал рассказывать Ходскому про инцидент в Юридическом обществе. Тот слушал, его, недовольно морщась, — видимо ему не очень нравилось чрезмерное возбуждение Хижнякова. Когда же Хижняков заявил, что газета должна резко реагировать на действия полиции и, достав из кармана несколько исписанных листков бумаги, предложил поместить в ближайшем номере заготовленную уже им статью, Ходский стал ему возражать, ссылаясь на то, что редакция послала на это заседание меня, что я уже готовлю отчет о происшедшем, что мой отчет вполне объективен и он, Ходский, считает поэтому излишними всякие другие отчеты и заметки по тому же поводу. Я слушал все это, крайне смущенный тем, что мой отчет послужил яблоком раздора между «богами Олимпа», — членами редакции. Но Ходский все-таки отстоял мою заметку.

Работа моя в газете вскоре окончилась. Я прервал ее, уехав на вакации, а по возвращении в Петербург так и не возобновлял. Хотя писание моих отчетов давалось мне очень легко, мне и в голову не приходило посвятить себя журналистике. И никто из молодежи в то время не думал серьезно об избрании этой профессии.

СТУДЕНЧЕСКИЕ КРУЖКИ И ПАРТИИ

По мере того как я становился более опытным студентом, я стал реже посещать университет, ходил только на немногие, более интересные лекции, а больше читал дома рекомендованные профессорами книжки и курсы. Иногда я выступал с докладами в разных студенческих кружках. В партийных организациях я не участвовал. Партийная узость взглядов, партийная пристрастность всегда претили моей натуре и потому я оставался вне партий, беспартийным, но конечно «левым». Студент не мог не быть левым в то время. Партийные же студенты принадлежали или к социал-демократам, или к социалистам-революционерам, — других партий в то время не было; да и эти две вели только подпольное существование.

Я считался среди коллег «сочувствующим эс-эрам» и, действительно, из двух партий я предпочитал соц.-революционеров. К этому меня склоняла во-первых, тамбовская традиция. Ведь Тамбов — крестьянское царство, там пролетариев не было за отсутствием фабрик и заводов, а эс-эры были идеологами крестьянства, по преимуществу. Главное же, меня больше привлекала их философия истории, ставившая во главу угла «критически мыслящую личность». В социал-демократической программе меня особенно отталкивал их «экономический материализм», — я переварить не мог этого плоского учения об «экономическом базисе» и «идеологических надстройках». Не участвуя в партийных кружках, я принимал деятельное участие в жизни землячеств. Землячества были беспартийными организациями и целью своей ставили, главным образом, взаимопомощь. Они устраивали спектакли и вечера, а иногда в них читались

также доклады по политическим и социальным вопросам. Организации эти вели нелегальное существование, но были весьма многочисленны и деятельны. Полиция смотрела на них сквозь пальцы. В жизни студентов провинциалов они играли немалую роль, помогая им устраиваться в столице, приобретать знакомства и заработок. Тамбовское землячество было сравнительно немногочисленным, так как большинство тамбовцев направлялось в Москву. Я свел знакомства в университете с некоторыми черниговцами, из коих А. П. Карпинский остался моим близким другом на много лет. Были у меня друзья и среди виленцев, в том числе известный впоследствии Н. Н. Крестинский. Так как я слыл за сочувствующего эс-эрам, то Крестинский приглашал меня иногда в виленское землячество в качестве оппонента по докладам социал-демократов. Другой виленец. Пилявский, ставший коммиссаром юстиции в Петербурге в 1918 году, принял тогда деятельное участие в моем освобождении из чрезвычайки.

Мои студенческие годы в политическом отношении прошли благополучно, но все же были некоторые опасные для меня моменты. Однажды, по поручению земляка-студента я занес пакет с книгами другому студенту, Волженскому. Волженский жил в комнате на Забалканском проспекте, в 4-ом этаже. Когда я позвонил к нему, мне отворил дверь ... городовой и жестом пригласил войти. Я сразу сообразил, что попал на обыск, и инстинктивно бросился бежать. Слетел кубарем с 4-го этажа и выскочил на улицу. Городовой пустился в догонку за мной, но он был затянут в форменное пальто, кроме того ему мешала пристегнутая с боку сабля, — да и ноги у него были не такие молодые, как у меня. Словом я удрал от него и тем спасся от большой неприятности, которая в корне могла изменить мою судьбу и помешать мне окончить университет. (Книжки были нелегальные). Другой случай был еще хуже. Возвратясь однажды ночью домой, я застал на моей кровати околодочного надзирателя. В мое отсутствие у меня произведен был обыск, а околодочный остался, чтоб обязать меня подпиской явиться на следующее утро на допрос в Охранное Отделение.

На другой день у меня был назначен экзамен по истории рус-

ского права у проф. Латкина. Явившись на экзамен, я предъявил профессору повестку Охранного Отделения и просил проэкзаменовать меня вне очереди. Профессор согласился, при условии, что мои коллеги не будут протестовать против нарушения порядка очереди. Я поднялся на кафедру и обратился к коллегам с соответствующей просьбой. Коллеги милостиво согласились, я благополучно выдержал экзамен и в воинственном настроении отправился в Охранку — узнавать причину обыска.

После получасового ожидания меня вызвали к следователю. Когда я услышал фамилию этого следователя, сердце у меня ёкнуло. То был знаменитый в то время сыщик Статковский.

Статковский вначале испытывал мое терпение, ставя мне вопросы о моем личном и семейном положении. Когда же он на мой вопрос о причинах обыска предъявил мне пачку моих писем, то я внутренне обмер от страха. То были письма к моему гимназическому другу, а в то время студенту Московского университета, Косте Жирову. Писал я ему с полной откровенностью, подробно описывал происходившие тогда студенческие волнения, ругал полицию и сообщал разные политические новости и сплетни, которые по цензурным условиям не могли попасть в газеты. Больше же всего повергло меня в смущение одно письмо, в котором я передавал слух о том, что государь находится под влиянием разных проходимцев и шарлатанов, вроде магнетизера француза «пэр Филипп» и других. Этого письма никак нельзя было перетолковать и объяснить, я смущенно плел какую то чепуху, а Статковский, серьезно ставя мне разные вопросы, играл со мной, как кошка с мышкой и, должно быть, внутренне смеялся. К великому моему изумлению, по окончании допроса он отпустил меня с миром, взяв лишь подписку о невыезде (которую я не исполнил) и объявив, что делу будет дан дальнейший ход и что меня своевременно вызовут. Действительно, через весьма долгий промежуток времени, чуть ли не через год, меня вызвали в жандармское отделение и здесь подвергли допросу. Но и отсюда меня благополучно отпустили.

Такой результат еще больше удивил меня, когда я узнал впоследствии от своего приятеля Жирова все подробности этого дела.

Был у нас земляк со звучной фамилией Сладкопевцев. Он участвовал будто бы в группе террористов, которые подготовляли какое то покушение. Иногда он приходил к Жирову и просил позволения переночевать, а Жиров, ни о чем не подозревая, оказывал ему гостеприимство. Вслед за раскрытием заговора и арестом Сладкопевцева, арестован был и мой друг Жиров, а во время обыска у сего последнего найдены были мои письма. Жиров отделался непродолжительным арестом (правда, его невеста нашла влиятельные протекции), а Сладкопевцев отправлен был в ссылку. Таковы были «жестокости самодержавного режима» в то время.

ПОЕЗДКИ НА КАНИКУЛЫ

Еще один недостаток нашего университетского образования — оно было слишком коротким. Учебный год продолжался месяцев шесть, а остальное время мы отдыхали. Съезжались студенты в сентябре. Пока начинались лекции, пока втягивались в работу, — глядь, уж подходят рождественские каникулы, которые продолжались добрых шесть недель. После того шли занятия в феврале, марте, апреле, а в мае уже начинались экзамены, за которыми следовали летние каникулы. Неособенно мы были прилежны. Большинство нас, студентов, были провинциалы, любили свою провинцию и, попавши туда, неохотно с ней раставались. Путешествие мое из Петербурга в Тамбов продолжалось более суток. Ездили мы обыкновенно целой молодой компанией, — студенты и курсистки, — приезжали на Николаевский вокзал, по русскому обычаю, заблаговременно и с основательным багажом: тут и чайник, и всякая снедь, и узлы с подушками. Ехали весело, болтали, распевали песни, а после основательной закуски и чаепития, устраиваемого в вагоне, конечно, для чего мы и захватывали с собой большие металлические чайники, — начинали раскладывать подушки и устраиваться на ночь. Располагались мы и на верхней, третьей полке, предназначенной для багажа, и, несмотря на то, что полки и скамейки третьего класса были жесткими, спали отлично боль-

шую часть дороги. В Москве пересаживались с Николаевской дороги на Рязанскую, для чего нужно было только перейти Каланчевскую площадь, но поезда приходилось ждать долго, иногда по несколько часов. От Петербурга до Москвы ехать было скучно, — по сторонам жел. дор. полотна тянулся бесконечный северный лес и болота. За Москвой пейзаж становился веселей; но все же московские холмики и суглинок мало говорили нашему сердцу. А вот когда за Рязанью открывался нашим взорам безграничный простор плодоносных, черноземных полей, с ветряными мельницами на горизонте, да с пятнами красных и белых мужицких рубах, мелькавших там и сям среди полей, дух захватывало от радостного чувства и на глаза навертывались слезы.

Поезд медленно тащился и подолгу останавливался на станциях. Вокруг были леса, поля да равнины, ничего примечательного для взора. На некоторых станциях мы слезали, чтобы взять кипятку для чая, на других, как в Фаустове, например, чтобы поесть горячих пирожков. Проезжали Рязань, Ряжск, Козлов, — все родные места, — приближались к Тамбову. Прибывали, наконец, в Тамбов ночью, часа в два. Ванька лихо мчал по ухабам булыжной мостовой и благополучно доставлял к родительскому дому. И вот из далекой, шумной, северной столицы попадали мы в мир тихой, спокойной и ленивой жизни, мир пуховиков и перин, жарко натопленных комнат, долгого сна и постоянного объяденья пирогами, кулебяками, левашниками и прочими жирными и сдобными яствами, которыми родители закармливали своего дорого гостя.

Рождественские каникулы пролетали быстро. Летние тянулись дольше, но редко кто в эти летние месяцы брался за книгу. Снова предавались мы любимым удовольствиям на лоне природы: катанье на лодках, рыбной ловле, прогулкам. Единственное серьезное дело, которым мы, студенты, занимались во время вакаций, было устройство благотворительных вечеров в пользу недостаточных наших товарищей. Дело это было нелегким, требовало много времени, энергии и дипломатических способностей. Во время рождественских каникул мы устраивали обыкновенно концерт с участием столичных артистов, которых мы

привозили из Москвы. Летом же устраивался спектакль с участием студентов и местных любителей драматического искусства. Особенно трудно было организовать спектакль. Любителей поиграть было много, но трудность заключалась в распределении ролей. Все дамы желали играть лучшие и, при том, самые молодые роли, а мущины, наоборот, предпочитали комические и бытовые. Те и другие обижались на замечания режиссера и иногда отказывались от роли накануне спектакля. Приходилось иной раз посылать целые депутации из студентов и курсисток, чтобы умилостивить разгневанную жрицу искусства. С артистами из студентов была другая беда: для храбрости они нередко выпивали лишнее и во время спектакля с ними не было сладу. Они либо переигрывали и пускали отсебятину, на потеху галерке, либо приходили в буйное состояние и вовсе не хотели выходить на сцену. Приходилось отрезвлять их героическими мерами.

На мою долю выпадала обыкновенно главная роль по организации этих спектаклей и легко себе представить, сколько неприятностей я из-за этого вынес. Помню, как мой приятель Митя Остроумов, играя роль пьяного в какой то пьесе Островского, так натурально напился, что проговорив следуемую по роли фразу: «Где мой Вася!» — заплакал горючими слезами и, все повторяя ту же фразу, ни за что не хотел уходить со сцены.

Другой артист, будучи тоже под сильной мухой, в полном гриме и театральном одеянии отправился через дорогу в городской сад, к буфету, а когда полиция не пожелала пропустить его туда в таком виде, полез в драку и был арестован. Чтобы продолжать спектакль, пришлось вызволять его из участка.

Спектакли эти были событием в провинциальной жизни и всегда собирали много публики. Деньги, вырученные от них, поступали в кассу землячеств и там распределялись между нуждающимися.

Так проходило сухое, жаркое лето, наступал сентябрь, шли дожди, вечера становились длинными и темными. Птицы готовились к отлету на юг, а мы, студенты, к отъезду на север. За невозможностью загородных прогулок мы прохаживались по городу Тамбову и тосковали. Полутемные, еле освещенные керо-

синовыми фонарями улицы; непросыхающие лужи на тротуарах, а местами и непролазная грязь; домишки с наглухо закрытыми ставнями, — нигде ни души, ни света, ни движения; лишь изредка продребезжит по мостовой извозчичья пролетка с запоздалым седоком... Унылая картина жизни русских провинциальных городов. Мечталось о Петербурге, о ярко освещенном Невском с его вечным движением и шумом, с его нарядной толпой, спешащей в этот час в театры и рестораны. С ужасом думалось: «Неужели по окончании университета мне суждено будет жить в провинции?» И щемящая тоска вкрадывалась в сердце. Казалось бы, вполне естественно вернуться на работу в свой родной город. Нельзя же всем жить в столицах! Но я почему то и думать не хотел об этом.

Несмотря на все эти мысли и настроения уезжать всегда было грустно, тяжело. Какие то корни тянулись в родную землю и с тоской отрывались от нее. Уезжали мы, наконец, напутствуемые родительскими объятиями, благословениями, слезами, нагруженные всякими сладостями и гостинцами, опять навьюченные чайниками и подушками. Ехать назад было уж не так весело. Поезд должен был отправляться по расписанию в три часа ночи, но всегда запаздывал часа на два, а то и более. Нужно было ждать его на грязном, закопченном вокзале, в томительные ночные часы. Наконец он приходил, переполненный спящим народом. С трудом удавалось протиснуться и сесть. О том, чтоб захватить скамейку для спанья, нечего было и думать. В третьем классе публика ездила самая серая, а в наших краях и вовсе сермяжная, мужицкая. Грязь, вонь. Ехать до Москвы было тяжело и мысли были невеселые. В Москве я перебирался на Николаевский вокзал и устраивался в отходящем отсюда поезде много удобней. Мысли становились бодрее и тянулись вперед, к будущему, к Петербургу. Я начинал перестраиваться на столичный лад.

МОИ РОМАНЫ

Мой первый — гимназический — роман, с Таней Ринек, совсем непохож на романы современной молодежи: за все время «романа» мы едва обменялись несколькими робкими поцелуями. Роман состоял, главным образом, в том, что я старался влиять на нее, приносил для чтения книги «с направлением» и затем мы беседовали о прочитанном. Таня была прелестное существо, с чистой, светлой, наивной душой и с такими же светлыми и наивными глазами. Впрочем, если она и была наивной, то отнюдь не глупой. Она любила читать и умела размышлять о прочитанном. Местный бомонд считал ее своею, ее приглашали на губернаторские балы, но по натуре она была слишком серьезна для простой светской барышни. В свете осуждали ее дружбу со мной, — таким «мизантропом». Когда я был арестован жандармами и вследствие этого исключен из гимназии, она горько плакала. Одновременно со мной, в 1901 году, она приехала в Петербург и поступила в Женский Медицинский Институт, но кончить Институт ей не удалось по слабости здоровья. После короткой и несчастливой жизни она рано угасла в Ялте от злейшей чахотки. К ней как нельзя больше применим известный стих Malherbe'a:

Mais elle était du monde,
Où les plus belles choses
Ont le pire destin...

С переездом в Петербург и началом новой жизни наш роман очень быстро прервался. Слишком много впечатлений давала нам столичная жизнь и влекла нас в разные стороны. Каждый из нас был занят своими делами и мы стали встречаться все реже и реже. Но вначале мы встречались довольно часто. Вместе с нею, в первый раз в жизни, я увидел Коммиссаржевскую в пьесе Зудермана: «Огни Ивановой ночи». Помню, как после спектакля, взволнованные, мы долго сидели в Александровском парке, возле Каменноостровского, и делились впечатлениями. И ночь была светлая, лунная. Mais honny soit qui mal y pense.

Напротив, я с этого же спектакля совершенно влюбился в Коммиссаржевскую, то есть в тот вечер в Марикку, позже в «Бесприданницу», словом в созданный ею тип женщин, — загадочных, сложных, с внутренней тоской, с глубоким, волнующим голосом. Рядом с этим женским образом Таня показалась мне неинтересной, слишком простой и бесцветной. Это было несправедливо по отношению к ней, но я по молодости лет склонен был тогда ко всяким романтическим фантазиям. Но я никогда не искал знакомства и с Коммиссаржевской. Мне это даже в голову не приходило и я, горячий поклонник ее таланта, не познакомился с ней и позже, когда был петербургским адвокатом, хотя я имел к тому несколько подходящих случаев.

В студенческую пору я был очень робок и застенчив с женщинами и не только никогда не «ухаживал» за ними, но, напротив, всегда избегал встреч с теми из знакомых курсисток, у которых я замечал малейшую склонность к флирту.

В нашем гимназическом кружке нередко обсуждался вопрос об «идеале русской женщины», читались рефераты на эту тему, материалом к которым служили, главным образом, статьи Белинского и Добролюбова и романы Тургенева. Идеал этот рисовался нам приблизительно так, как он выражен в стихотворении Надсона:

> Ты нужна. Не для пошлых и низких страстей
> Ты таила на сердце богатства свои,
> Ты нужна для страдающих братьев людей,
> Для великого общего дела любви.

Энергичная деятельница на общее благо — вот каков был этот идеал. Моя студенческая жизнь, в первые годы, так была наполнена всякими интересами и впечатлениями, что мне, по правде сказать, было не до личной жизни и не до женщин. Мне всегда не хватало времени, всегда нужно было что то повидать или услышать, почитать и поучиться. Я никогда по пустому в гости не ходил, а если шел к Гердам или к Душечкину, то только в надежде встретить там известных людей и услышать интересные разговоры. Отдаваться же пустому времяпрепровож-

дению, то есть играть в карты или на биллиарде, я позволял себе иногда в провинции, во время каникул, а в Петербурге — никогда. Были, конечно, студенты и другого типа, которые предавались всем этим удовольствиям, даже — horribile dictu! — ездили к цыганам и вообще вели образ жизни светской золотой молодежи, но то были, по большей части, коренные петербуржцы из богатых семей, — мы называли их презрительно «белоподкладочниками» за их шикарные студенческие мундиры на белой шелковой подкладке. Ни один «порядочный» студент не носил таких мундиров, обходясь демократической тужуркой.

Спортивных увлечений в ту эпоху еще не было и, если мы ездили на лодке или на велосипеде, то просто для удовольствия, а не для тренировки или установления рекордов.

Иногда скучал я на семейных обедах у дядюшки или же весной, по вечерам, он увлекал меня в какой нибудь летний сад или на острова для вящего ознакомления моего с Петербургом. Чудесные поездки на острова, на финляндских пароходиках, в белые весенние ночи, навсегда запечатлелись у меня в памяти, как одно из самых поэтических воспоминаний о Петербурге*).

Однажды, — это было вероятно уже на третий год моей петербургской жизни, — дядюшка предложил мне поехать с ним на прогулку за город, в Лесной, куда он был приглашен некоторыми из своих учениц, слушательниц Женского Медицинского Института.

Так я познакомился, а вскоре и подружился с этими «медичками». Это были все серьезные и скромные девушки. Некоторые из них снимали комнаты, как сейчас помню, недалеко от Медицинского Института, в большом комфортабельном доме на Большом проспекте Петербургской стороны.

То было далеко от центра и я, попадая к ним, отдыхал у них за чашкой чая от моей утомительной петербургской жизни. Никакой политикой они не занимались, — им было не до того, слишком они были заняты. Тут и лекции, и клиники, и лабораторные занятия. Иногда они водили меня в приют для слепых,

---

*) Одно лето мы с дядюшкой совершили интересное путешествие на пароходе по Волге, от Рыбинска до Саратова.

где мы сообща читали этим несчастным пьесы Островского, распределив между собой роли.

Иногда я пел им разные русские романсы и, хотя петь приходилось мне без аккомпанимента, все же пение мое доставляло им большое удовольствие. Любимым композитором был у нас тогда Чайковский, а любимыми поэтами Надсон и Апухтин, ныне почти забытые.

Летом 1905 года я женился. Жена моя, тоже медичка, была родом из Москвы; там жили ее родители, а потому после свадьбы мы остались жить в Москве. Жена занялась там медицинской работой, а я начал готовиться к государственным экзаменам, которые предстояло мне держать весной 1906 года. Бурные политические события конца 1905 года мы переживали, таким образом, в Москве. Наблюдать их нам приходилось довольно близко, — пушки над Пресней грохотали неподалеку от нас (мы жили на Плющихе). С жутким любопытством бродили мы потом по пустынным, забаррикадированным улицам города, обратившегося в лагерь военных действий.

Весной 1906 года я держал государственные экзамены в Петербурге, а летом мы с женой поехали отдыхать в Тамбов.

Поселились мы на даче возле деревни Тулиновки, в 12 верстах от Тамбова. Ехали туда на хорошей тройке, — другого сообщения, как на лошадях, не было. Красивые места! Деревня стояла на берегу озера, среди могучего, соснового леса. По утрам опьяняюще пахло сосной. В окрестностях много было полевых цветов, грибов, ягод. Хорошо, привольно жилось нам на лоне богатой русской природы.

Так кончились наши студенческие годы, годы учебы, — с осени предстояло начинать самостоятельную трудовую жизнь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

АДВОКАТУРА

(1906 — 1917)

МОСКВА 1906 Г.

Осенью 1906 года я поступил в московскую присяжную адвокатуру и записался помощником у Л. С. Биска, который был в дружеских отношениях с моим тестем. Биск пользовался репутацией выдающегося цивилиста и безупречного в моральном отношении человека. Но он был слишком прямым и резким в суждениях и многие из коллег не жаловали его за это. Он состоял одним из руководителей конференций для стажьеров, — звание весьма почетное в сословии. Многие из именитых московских адвокатов часто приглашали его для консультаций и для совместных выступлений в судах. Но личная его клиентура была немногочисленной, опять таки по причине особенностей его характера; клиенты тоже предпочитают людей более покладистых. Мелких дел он не вел и работы для помощников у него в сущности не было*). Биск высказывал мне такой взгляд на занятия стажьера: прежде всего, не следует гнаться за выступлениями на суде, — выступления в мелких делах у мировых судей не воспитывают, а развращают молодого адвоката, ибо мировые судьи — плохие юристы, судят по обывательски. Следует заниматься теоретически, читать, посещать конференции стажьеров, слушать в суде интересные дела и хороших адвокатов. «А когда вы освоитесь с адвокатской работой, — сказал мне Биск, — я устрою вас у кого нибудь из коллег с солидной практикой». Занятия Биска со мной заключались в том, что он давал мне для изучения свои старые дела, и, изъяв из них какую либо состязательную бумагу, — апелляционную или кассационную жалобу, предлагал мне написать соответствующую бумагу самостоятельно, а затем разбирал написанное вместе со мной. Кроме того, он давал мне для чтения нужные мне

*) Но в московской адвокатуре, не в пример петербургской, присяжные поверенные записывали у себя неограниченное число помощников, не считая себя обязанными давать им работу.

юридические книги и охотно разъяснял всякие вопросы, с которыми я к нему обращался.

При всей полезности таких занятий, мне в них чего-то недоставало. Когда я шел в суд, видел кипящую там жизнь, видел моих молодых коллег, бойко выступающих в судебных заседаниях и с жаром обсуждающих между собой разные судебные казусы, меня охватывал страх, что я отстаю от них, что моя работа какая то вялая, неживая. Мне начинало казаться, что лучшая школа для молодого адвоката все таки выступления на суде и живое общение с клиентами. Мне, кроме того, нужно было зарабатывать на жизнь и то был мотив немаловажный. Напрасно мой патрон успокаивал меня, что все эти бойкие молодые люди ничего толком не знают и главное их качество — это их развязность и смелость.... Что касается заработка, то он советовал мне зарабатывать чем угодно, — уроками, литературной работой, — только не закабалять себя ведением мелких дел.

Может быть по существу Биск был и прав, — те же теории развивал мне впоследствии мой петербургский патрон Исаченко, — но эта теория хороша не для всех. Оба они, и Биск и Исаченко, начиная свою работу в адвокатуре, были обеспечены в материальном отношении, что и давало им возможность не запрягаться в мелкую работу у патронов, а сидеть и выжидать интересных и выгодных дел. Итак меня продолжали грызть мои сомнения и неудовлетворенность. К тому же я был в Москве чужим человеком и среди моих молодых коллег у меня не было ни друзей, ни знакомых.

Москва слыла всегда за город хлебосольный и гостеприимный. Москвичи гордились этими качествами перед «холодными» петербуржцами, которых они называли чопорными, чинодралами и т. п. Все это отчасти и справедливо.

Но мой опыт показал мне, что новому человеку легче было пробиться и устроиться в Петербурге, чем в Москве. В Петербурге в либеральных профессиях господствовала разночинная интеллигенция, — тоже люди по большей части новые в столице и пробившиеся самостоятельно. В Москве же коренные москвичи имели преимущество перед всякими новичками. В адвокатуре господствовали именитые московские фамилии и, что-

бы пробиться там и развить практику, нужно было найти «родного человечка» среди коренных москвичей, который пожелал бы «порадеть» за вас. Без этого было очень трудно. Недаром говорится в пословице, что — «Москва слезам не верит».

Помню, — это было несколько лет позже, — один из моих петербургских коллег, — помощник присяжного поверенного Д. С. Постоловский, — по каким то личным причинам решил переселиться в Москву. Он уже успел приобрести значительный опыт в ведении дел и имел немало знакомств среди видных московских адвокатов. Однако, побыв некоторое время в Москве, он вернулся в Петербург ни с чем. Устроиться в Москве ему не удалось. «Что и говорить, народ там милый, хлебосольный, — рассказывал он, — Доброхотов, Малянтович, Балавинский и другие встретили меня с распростертыми объятиями и наперерыв приглашали то к завтраку, то к обеду. В еде и питье не было недостатку. Но насчет работы — ни полслова. Доброхотов, — председатель Совета Прис. Поверенных, — грубоватый по манере старик, оригинал, сказал мне: «Зачем это вас принесло сюда к нам из Питера? Что вам плохо что ли там? И что здесь хорошего? Вот иду я на-днях по своему переулку и вижу, — присела баба на тротуаре и... делает свои дела (он выразился грубее). Что вы на это скажете? Что же это за город! Поезжайте-ка вы лучше к себе обратно в Питер».

В Москве мне было непривычно во многих отношениях. Среди коллег, в суде, я чувствовал себя одиноко и не по себе. И во внешности их, и в манере обращения было нечто несвойственное петербуржцам и отдалявшее меня от них, — подчеркнутая простоватость, некоторое даже амикошонство, желание показать, что я, мол, рубаха парень и у меня душа на распашку. (На самом деле, как я указывал, это было далеко не так). В общем по внешности купеческий тип преобладал среди них над интеллигентским.

Биск, увидя мою тоску по практической деятельности, достал мне работу в конторе, производившей взыскания по жел.-дор. накладным. Работа была скучная и для начала я почувствовал

горькое разочарование. Юриспруденции тут почти не было, а все сводилось к арифметическим подсчетам.

Гораздо более сильные впечатления пережил я, выступив в первый раз на защиту в уголовном суде.

Защита была, конечно, по назначению от суда. Назначен был патрон и, по обычаю, передал повестки мне. Защищать в таких случаях приходилось воров-рецидивистов по безнадежным делам.

Когда я явился в прекрасный, большой, светлый зал московского суда и уселся на скамью защиты, — ту самую скамью, на которой сидели не раз до меня разные знаменитые ораторы, — у меня душа ушла в пятки. Вышел суд, присяжные заседатели, и началась торжественная процедура, а я все никак не мог прийти в себя, не мог спокойно усесться на своем месте; — мне все казалось, что скамья слишком велика для меня и я старался рассесться на ней пошире и посолидней. Не успел я опомниться, как все первые формальности были пройдены. Неожиданно прокурор встал и заявил, что, по его мнению, в виду сознания подсудимого, надобности в допросе свидетелей не имеется. — «Ваше мнение, г. защитник!» — обратился ко мне председатель. Я вскочил, как ошпаренный, и пролепетал: «Не возражаю». — «Ваше слово, г. прокурор». — Прокурор сказал несколько слов о том, что он поддерживает обвинение в виду сознания подсудимого, а вслед за тем я услышал роковые слова председателя: «Слово принадлежит вам, г. защитник».

Тут у меня, что называется, в зобу дыханье сперло и все поплыло перед глазами. Я приподнялся, что то пробормотал и у меня осталось в памяти только лицо старшины присяжных заседателей, — почтенное, седобородое лицо, смотревшее на меня поверх пенсне с некоторым изумлением и укоризной, как мне казалось. Пробормотал я несколько слов о том, что надеюсь на снисхождение г. г. присяжных заседателей и, посрамленный, сел. Присяжные удалились на несколько минут в совещательную комнату и, возвратясь, объявили приговор: «Нет, не виновен». — Я понял, что снисхождение даровано было не столько моему подзащитному, сколько мне, его защитнику.

Таким же способом прослушано было второе, аналогичное дело, по которому я также был защитником, — и с тем же результатом. Услышав второй раз: «Нет, невиновен», прокурор недовольно пожал плечами и бросил презрительный взгляд в мою сторону. Я откланялся суду и, донельзя сконфуженный, удалился во свояси.

После моей первой защиты стал я ходить слушать, как защищают мои сверстники и увидел, что многие из них уже освоились со своей ролью, приобрели необходимый навык и апломб, одним словом, намного опередили меня. Я решил повторить свой опыт и вскоре раздобыл повестку на защиту в более серьезном деле, — по обвинению в грабеже. На этот раз обвиняемых было несколько и в защите участвовали кроме меня и другие молодые адвокаты, из коих некоторые успели приобрести даже кой какую известность. С одним из этих защитников — Крюковым — я познакомился еще раньше в кулуарах суда. Он мне импонировал своим авторитетным видом и потому я стал советоваться с ним перед началом дела по поводу способа защиты. Общие указания он давал мне смело и решительно; что же касалось толкования статей закона и сенатских решений, то тут он чувствовал себя менее уверенным и утверждал, что это — «не важно».

Началось дело. Мои коллеги вели себя очень развязно на суде, вступали даже в спор с председателем, а речи свои произносили с пафосом и украшали их цветистыми фразами. Когда очередь дошла до меня, я тоже старался быть развязным и наговорил много громких слов, хотя такая манера защиты совсем несвойственна была моему скептическому и застенчивому характеру. К сожалению, результат получился далеко не такой блестящий, как после первой моей защиты: моего подсудимого обвинили и довольно сурово. И я ушел из зала суда еще более сконфуженным, чем в первый раз. Были у меня и другие защиты, но вскоре вкус к ним я окончательно потерял. Тем не менее я с интересом посещал большие процессы, особенно по делам политическим, и слушал знаменитых московских защитников: Маклакова, Муравьева, Малянтовича, Ledницкого, Ходасевича, Шубинского и др. Больше всех меня пленил Маклаков.

В больших процессах с несколькими подсудимыми Маклаков избегал садиться первым, во главе защиты, предпочитая оставаться на втором плане, в тени, чтобы меньше привлекать к себе и своему подзащитному внимание судей. Точно также он всячески старался не вызывать раздражения у судей и даже жертвовал иногда ради этого ораторскими эффектами. В речи своей он стремился приспособить аргументы к пониманию судей и к их психологии. Я помню, как в одном громком политическом процессе, где обвинялись преимущественно молодые люди, — студенты, засевшие в особияке Фидлера и оказавшие сопротивление полиции во время революции 1905 года, — он взывал к отеческим чувствам судей и просил их быть снисходительными к пылкой и неумудренной житейским опытом молодежи. Я сам слышал после этого, когда судьи, а это было Особое Присутствие Судебной Палаты с участием сословных представителей, — проходили из зала заседания в совещательную комнату, как один из них сказал другому: «Вот Маклаков, — сейчас видно, что умный человек». А подзащитные, — пылкие молодые люди, желавшие казаться великими революционерами и героями, считали себя до некоторой степени униженными словами Маклакова. Гораздо более пришлась им по вкусу речь Муравьева, который однако так сумел разразить судей, что председатель резко оборвал его после патетической фразы: «Когда русские пушки грохотали над Пресней»...

Особенность речей Маклакова заключалась в том, что внешне оне вовсе не казались блестящими, — не было в них никаких эффектов, речь текла простая и плавная, словно разговорная, действовала на вас скорее успокоительно, чем возбуждающе. Некоторые, прослушав его, говорили: «Что так расхваливали Маклакова? Никакого особенного красноречия тут нет. Правда, сказано очень гладко, дельно, логично, но в общем все самые простые доводы, которые всякому приходят в голову».

Вот в этом последнем признании и есть главный комплимент Маклакову, в этом его главная сила, — в уменьи убедить слушателей как то незаметно для них самих, как будто самыми простыми житейскими аргументами. Однако с первых слов он

завоевывает внимание слушателей и держит их в непрерывном напряжении до конца речи, что и доказывает, какой он большой оратор. Лишнего в его речи ничего нет, все на месте, все выпукло, все ясно, для всего легко находятся подходящие определения и меткие слова. Даже в чтении речи его производят большое впечатление и только читая их, даешь настоящую оценку их искусному построению и неотразимой логичности.

В процессе Бейлиса защищали три знаменитых адвоката: Карабчевский, Грузенберг, Маклаков. Карабчевский — идеал адвоката старого стиля: высокий рост, орлиный профиль, пышная шевелюра, величественные жесты, бархатный голос и речь, изобилующая красивыми оборотами.

О. О. Грузенберг, — тонкий юрист, знаменитый кассационный адвокат, тоже блестящий оратор, полный пафоса. И, наконец, — Маклаков.

Кто из них явился победителем в этом ораторском турнире, происходившем в густой, тяжелой атмосфере политических страстей? Кто сумел рассеять недоверие и подозрительность двенадцати серых, малокультурных присяжных заседателей?

Передавали мнение одного из них:

«Карабчевского мы не поняли, Грузенбергу не поверили, а Маклаков — до сердца дошел».

Sè non è vero, — все же это правдоподобно.

Я рассказывал уже раньше, что тамбовцы тяготели всегда к Москве. Тамбов считался московской вотчиной. Хотя езды туда было по железной дороге часов двенадцать, все же это был ближайший культурный центр. Оттуда шли к нам все культурные влияния, оттуда получались газеты, привозились всякие товары, оттуда приезжали артисты и лекторы.Туда ездили тамбовские богачи повеселиться, туда ехали учиться молодые люди, окончившие гимназию. И я смолоду много наслышался о Москве, московской жизни, московских театрах, московском университете и профессорах. Я тоже симпатизировал заочно Москве и стремился к ней, но всякий раз как я попадал в нее, мне не удавалось устроиться и ужиться там. Я уже описывал, как неудачно было мое пребывание в Московской гимназии и почему я устремился в Петербургский университет. За студен-

ческие годы я так привык к Петербургу и полюбил его, что, поселившись во второй раз в Москве, я опять почувствовал себя в ней неуютно.

После широких, прямых «проспектов» Петербурга, с их дворцами и правительственными зданиями, — творениями гениальных архитекторов, — после величественной Невы с ее грандиозными мостами и прославленной гранитной набережной, грязные, узкие и извилистые переулки Москвы казались мне слишком бедными и невзрачными для столицы. Жизнь в Москве начиналась и кончалась рано, — уже с десяти часов вечера всюду было темно и я тосковал по блистающему огнями, вечно оживленному Невскому проспекту. Московский шик, — московские франты и франтихи и толстозадые лихачи, на которых они проносились по Тверской, — все казалось мне грубо безвкусным и вычурным*). Я скучал по более культурной петербургской толпе среди провинциально серого московского народа. Но я, конечно, был несправедлив в своих суждениях о Москве. Я все еще мало знал ее. Надо было глубже проникнуть в ее тихие, скромные переулки, чтобы понять, какая своеобразная и интересная жизнь роилась там, как уютна была эта жизнь, в сравнении с петербургской, и насколько лучше отражала она подлинный лик России. Недаром звалась Москва «сердцем России».

По правде сказать, я сам не могу дать себе полного отчета в том, почему меня так потянуло тогда снова прочь из Москвы. У жены моей, — коренной москвички, — было там много симпатичных и интересных друзей... А между тем жизнь наша как то не налаживалась. От этих двух лет жизни в Москве осталось серое, бесцветное впечатление. Ничего не могу вспомнить яркого, значительного, кроме, конечно, театральных впечатлений.

Весной 1907-го года по какому то поводу я поехал в Петербург и — словно вырвался на свежий воздух. Опять повидал

*) Судя по воспоминаниям Жихарева и сто лет назад (1807) москвичи были такими же: «Московские щеголи ничего не делают вполовину, — пишет он, — отличаться, так отличаться: подавай золоченые колеса, красную сафьянную сбрую с вызолоченным набором, который горел бы, как жар»... и т. д.

старых друзей, — Гердов, Душечкина. Но больше всего был потрясен впечатлениями от посещения суда. В адвокатском буфете, — так называемой «Смирновке» — (по имени старого курьера Смирнова), — жизнь кипела ключом, шум стоял от споров - разговоров. В облаках табачного дыма различил я фигуры многих из моих товарищей по университету. Но, Боже, как изменились они, как возмужали, сколько прибавилось солидности и самоуверенности! Многие уже не раз выступали защитниками в политических процессах. В суде, в судебных канцеляриях и залах заседаний, они чувствовали себя, как дома. Как я отстал от них, подумалось мне, и сердце защемила такая тоска, что я тут же дал себе слово поскорей перебраться в Петербург. Вместе с тем все мои друзья и знакомые, как казалось мне, жили такими широкими интересами, наслушался я от них столько всяких политических, литературных и театральных сплетен и новостей, что жизнь моя в Москве представилась мне еще монотонней и скучней. Нет! Там спящая провинция, там варенье в собственном соку, а здесь, только здесь бьется пульс настоящей жизни! Вот в таком опьянении от петербургских впечатлений возвратился я в Москву и стал уговаривать жену свою переехать в Петербург.

Неловко было мне перед Биском. Он не советовал покидать Москвы. «Здесь практика гораздо богаче, — говорил он, — и вам легче будет сделать карьеру». Он был прав в этом отношении, но разве я мог в то время слушать доводы о «карьере». Я сказал ему в ответ, что у меня в Петербурге много друзей. — «Ах, друзья! — воскликнул Биск: — Друзья, — это дело наживное». В то время, по молодости лет, я был задет таким аргументом и обиделся и за себя, и за друзей.

За время моего пребывания в Москве я успел приобрести одного только верного и выгодного клиента: купца Шугаева. Оригинальная фигура — этот купец. Торговал он в маленькой лавчонке, в Лоскутном ряду, а делал многотысячные обороты. Жил он неподалеку от нас, возле Девичьего Поля. Зайдешь к нему, — он сидит замусоленный, без воротничка, среди своей многочисленной семьи. Конфузится, светских манер не имеет. И на купца то настоящего не похож, а так — на маленького меща-

пина. А между тем, по словам моего шурина Лени, который был с ним в приятельских отношениях, он обладал хорошей библиотекой, был весьма начитан в философии и литературе и даже писал в журналах.

Это знакомство лишний раз доказывало, что Москву по внешности судить нельзя, нужно познать ее глубже*).

Шугаев был искренне огорчен, когда я пришел ему сообщить о моем переезде в Петербург, и стал меня уговаривать остаться в Москве:

«Гарантирую вам, что через несколько лет у вас будет большая практика. Купцы к вам пойдут. Купцы — народ недоверчивый, а к вам пойдут из за вашей честности. Вы на одной вашей честности большую карьеру сделаете, молодой человек. Ведь здесь честных людей мало, очень мало».

Я его поблагодарил за высокое мнение о моей честности, возвратил ему его дела и порекомендовал одного из своих коллег для дальнейшего ведения этих дел. Но, как я узнал впоследствии, он к этому коллеге не обратился, чем и доказал, что московские купцы действительно народ недоверчивый.

В ПЕТЕРБУРГЕ (1907 ГОД)

Когда я приехал в Петербург, осенью 1907 года, я все еще имел очень смутное представление о предстоявшей мне деятельности. Я был еще во власти иллюзий, сохранившихся во мне со студенческих времен. Меня не влекли в адвокатуру ни интересы теоретического характера, ни правотворческая и правоохранительная стороны адвокатской деятельности, — я мало ценил их в то время.

Адвокатская трибуна, в моих глазах, должна была служить

*) Вот что говорит о Москве И. И. Петрункевич («Из записок общественного деятеля», стр. 265): «Раньше я очень мало знал Москву и только прожив в ней семь лет, почувствовал всю ее оригинальность и привлекательность, ее своеобразную красоту и резко выраженный национальный характер, благодаря ее церквам, улицам, их названиям, демократической толпе, народной массе, так мало заметной в Петербурге, где преобладала холодная современность, чиновник и интеллигент».

общественным и политическим целям. Меня особенно привлекала деятельность адвокатов в политических процессах и я сам надеялся в скором времени принять участие в таких процессах. Я слушал и читал речи многих знаменитых защитников по этим делам и мечтал попасть помощником к одному из них. От В. А. Герда я получил рекомендательные письма к трем знаменитым левым адвокатам: Л. Н. Андроникову, М. М. Винаверу и Н. Д. Соколову.

Л. Н. АНДРОНИКОВ

Л. Н. Андроников особенно привлекал мои симпатии и я отправился к нему первому. Он жил тогда в Саперном переулке. Из маленькой передней прислуга ввела меня в кабинет. Кабинет был небольшой и обстановка самая скромная. Вскоре вошел сам хозяин. Когда я объяснил ему цель визита и передал письмо Герда, на лице его выразилось недовольство.

У Андроникова внешность была типично кавказской, а лицо чрезвычайно привлекательно, — на нем тотчас же можно было прочесть все одушевлявшие его чувства. Его искренность и непосредственность, в связи с пылким кавказским темпераментом, не раз доводили его до резких столкновений. Был даже случай, когда он подрался с противником в кулуарах одного из провинциальных судов. Совет Присяжных Поверенных судил его за это и я помню, как он, в ожидании решения, прохаживался по коридору суда и, пожимаясь от нервности, говорил со своим типичным кавказским акцентом: «Н-нэ понимаю. Что тут долго думать? Ясно: н-нэльзя адвокату в суде драться! Н-нэдопустимо! Надо исключить. Двух мнений быть не может». (Кажется, его приговорили тогда к выговору). Но это происходило уже много позднее. Теперь же, прочтя письмо Герда, он развел передо мной руками, как человек, находящийся в великом затруднении.

«Д-да, — медленно проговорил он, — Владимир Александрович Герд — это замечательный человек. Я его глубоко уважаю. Настоящий человек. Понымаете? Раз этот человек мне пишет,

— это меня обязывает. Я должен что то сделать», — говорил он, как будто сам с собой.

«Но что я могу сделать!» — вдруг воскликнул он. — «У меня самого очень мало работы». Я слушал и ничего не понимал: это говорит Андроников, знаменитый адвокат, блестящий оратор. Он открыл ящик письменного стола и указал мне на него: «Вот все мои дела». Там, действительно, лежало небольшое число дел. «И все эти дела — по передоверию от коллег. Я очень благодарен Максиму Моисеевичу (Винаверу, у которого Андроников некоторое время был помощником), — он меня не забывает, иногда просит выступить в Сенате. А почему он ко мне обращается? Потому что уверен, что Андроников знает. Вот у меня его дело лежит сейчас, — вопрос о бечевнике. Очень интересный вопрос. Я им когда то занимался. Нужно работать и тогда к вам будут обращаться. Но у меня нет дел, которые я мог бы передавать помощнику. Политические защиты? Но они же не кормят, — большей частью бесплатны. И потом ведь по ним обращаются индивидуально ко мне, — опять передавать не могу. Уголовных защит я не беру»... «Как не берете?» — удивился я. — «Послушайте, — как вы не понимаете!» Он встал и нервно зашагал по комнате. — «Па-ачему станут обращаться к Андроникову по уголовному делу? Па-атаму, что знают, что Андроников — честный человек, что Андроников грязных дел не берет. Но я именем своим не торгую. Если ко мне приходит клиент с уголовным делом, я знаю, что это прохвост, и я его гоню в шею». Он сделал энергичный жест.

«Я очень сожалею, — закончил он в более спокойном тоне, — что не могу исполнить просьбы Владимира Александровича и сделать что нибудь для вас. А Владимира Александровича я очень уважаю и прошу передать ему мой н-нызкий поклон». И он, от полноты чувств, отвесил передо мной глубокий поклон.

Затем он пожал мне руку и на том мы и расстались.

Я вышел от него несколько ошеломленный, но не обескураженный. Этот разговор с Андрониковым еще больше расположил меня в его пользу. Несмотря на мой неуспех, я вынес из визита к нему бодрящее впечатление и во мне усилилось желание войти в ряды петербургской адвокатуры. И при даль-

нейших наших встречах Андроников всегда вызывал во мне чувство живейшего интереса и симпатии.

Помню одно заседание Особого Присутствия Судебной Палаты, судившего за политические преступлеиия, и защиту в нем Андроникова. «Я буду говорить на тэму о контрастах, — так начал он свою защитительную речь. — Там, во дворе здания суда, — яркие лучи солнца. Здесь, в зале заседания, — темный полумрак. Вот, на скамье подсудимых, пылкая молодежь, полная энтузиазма и радостных надежд. Оттуда, с прокурорской кафедры, суровая обвинительная речь, требующая для этой молодежи тяжелых уголовных кар...»

И он стал говорить дальше о противоречии между статьями уголовного уложения, на которых основывается обвинение, и манифестом 17 октября и последующими узаконениями, вводящими в России представительный строй.

Закончил он патетическим призывом к судьям, в котором просил их о снисходительном отношении к обвиняемым ввиду их молодости.

Во время перерыва обвинитель, талантливый товарищ прокурора Бальц, подошел к Андроникову и сказал ему, что находит доводы его защитительной речи весьма интересными. Несмотря на такой редкий комплимент, Андроников выходил из зала заседания с мрачным, недовольным лицом. К нему из публики вышел князь Геловани (тоже присяжный поверенный) и сказал, хлопнувши его по плечу: «Молодец Луарсаб! Замечательно говорил!»

Но Луарсаб отрицательно покачал головой и ответил с раздражением: «Н-нэт! Плохо. В конце—пэрэкрычал». (Последнее отчасти было справедливо). И многие воспоминания из адвокатской жизни связаны для меня с именем Андроникова. Помню общее собрание адвокатуры по случаю смерти Л. Н. Толстого: самое талантливое слово о нем сказано было Андрониковым. Он привел, между прочим, следующий отзыв Куно Фишера, лекции коего он когда то слушал в Берлине, о Толстом: «Заветы христианства, — сказал Фишер, — забываются сейчас во всем мире. Только из глубины России доносится до нас апостольская проповедь Толстого...»

Другое воспоминание: по какому то случаю группа адвокатов собралась в отдельном кабинете ресторана «Вена». За ужином были речи, говорили такие выдающиеся ораторы, как П. Н. Переверзев и Ф. А. Волькенштейн, а все-таки наибольше впечатление произвел Андроников. Его искреннее волнение передалось всем, а красивые, образные сравнения вызвали общие аплодисменты. Помню общее годовое собрание присяжных поверенных, как всегда шумное и бурливое. В перерыве, перед выборами членов Совета, группа адвокатов убеждала Андроникова выставить свою кандидатуру: «Просим, просим!»

Он с искренним ужасом отмахивался от них: «Что вы, гаспада, с ума сошли! Меня в Совет? Да вот у меня в руках отчет Совета за прошлый год: читаю и в каждом дисциплинарном деле — себя вижу. Пропустил срок, — себя вижу. Клиентскіе деньги растратил, — себя вижу. Аскарбил коллегу, — опять себя вижу. Даже в суде подрался. Как же вы хотите, чтобы я в Совет баллотировался! Разве я могу судить других!»

Хорошо запомнились мне также подробности дела Н.

Мой приятель Н. служил когда то техником в Саратовском земстве. Был он тогда молод, горяч и во всем искал справедливости. В виду того, что земские подрядчики его понятиям о честности и справедливости не удовлетворяли, он вступил с ними в борьбу, — частенько исправлял и урезывал их сметы, браковал работы и материалы. Тогда те решили избавиться от столь неудобного техника, во что бы то ни стало. Предварительно они пытались задобрить его, но так как все заигрывания их ни к чему не привели, то они прибегли к столь могучему средству, как клевета, — стали распускать слухи, будто Н. берет взятки. В результате всей этой борьбы и возникло уголовное дело по обвинению Н. в вымогательстве взяток от подрядчиков, — дело, основанное на оговоре этих последних.

Следствие по этому делу затянулось бесконечно долго, так что Н., уверенный в своей правоте, пришел к убеждению, что до суда оно никогда не дойдет. За последующие годы, а прошло с тех пор лет пять - шесть, он успел уже забыть о предъявленном к нему обвинении, тем более, что судьба его чрезвычайно изменилась. Он переселился в Петербург и, после различных пери-

петий, хорошо устроился там. Таким образом, повестка о вызове в Саратовский суд обрушилась на него, как гром среди ясного неба.

Он прибежал ко мне, как безумный, с просьбой помочь советом и указать защитника. Я назвал ему два имени: М. В. Беренштама и Л. Н. Андроникова, и предложил сослаться на меня. Беренштам тотчас же согласился, но с Андрониковым дело пошло далеко не так гладко. Я сам отправился к нему и застал его в сильном колебании. «Вы же знаете, — начал он, — я уголовных дел не беру. Тем более такое дело. Я верю вам, что Н. — честный человек, но вдруг, представьте себе, его обвинят. Что же скажут про меня? Что Андроников защищает взяточников. Что Андроникову Н. заплатил большой гонорар деньгами, полученными в виде взяток. Это же н-немыслимо...»

Я стал уговаривать. В конце концов он сказал мне, что должен прежде всего сам установить по тем документам, которые ему представит Н., виновен ли тот или нет. Тогда только он даст ответ.

Итак, окончательного согласия он не дал. И вот началась пытка для обоих, и для Н., и для Андроникова. Пылкий грузин, с одной стороны, и типичный неврастеник, с другой. Я не раз пенял себя за несчастную мысль — свести их друг с другом. Андроников обещал взяться за защиту не раньше чем он составит себе определенное мнение по делу. Он начал сам разбирать это дело, сам судить Н. Этот разбор дела изобиловал драматическими подробностями. Своими подозрениями, обвинениями, криками он доводил иногда Н. до обмороков. Он требовал от него доказательств по всем пунктам обвинения, по поводу всех возникавших у него сомнений. Помню такой эпизод. Он спрашивает Н., почему тот не возбудил в свое время дела о клевете против своих наветчиков.

«Я хотел возбудить и даже обратился к адвокату», — отвечает Н. — «И что же?» — «А тот тянул, тянул, да так дела и неначал. А тем временем мне пришлось уехать из Саратова». — «Па-азвольте, но почему же этот адвокат все-таки не начал дела? Тут что то не так». — «Не знаю. Он даже взял с меня 500 рублей авансом, а дела не возбудил». — «Кто же это был? Как

его фамилия?» — «К—вич». — «Что? К—вич? Не может быть! К—вич — мой друг и всеми нами уважаемый коллега, — он не мог этого сделать. Вы лжете!» — С. Е. К—вич тоже с тех пор успел уехать из Саратова и сделался петербургским адвокатом. Андроников немедленно звонит к нему по телефону и спрашивает, помнит ли тот дело клиента Н. в Саратове. Тот, конечно, запамятовал. Андроников в раздражении кричит на Н.: «Вы лжете! Вы клевещете на уважаемого моего коллегу! Убирайтесь вон». Он швыряет ему досье и почти выталкивает из квартиры.

Можно себе представить, какой эффект эта сцена произвела на Н. Он был в полном отчаянии. Я пытался убедить его, что, в сущности, второй адвокат ему не нужен, раз у него есть уже такой прекрасный защитник, как Михаил Беренштам. Но Н. и слышать не хотел об этом; он уже успел привязаться к своему мучителю, — тот покорил его сердце своей необыкновенной искренностью и темпераментом. Н. уверовал, что только этот человек может спасти его.

Но как же возвратить себе его доверие? Он ломал себе голову, старался припомнить все мелкие события саратовской жизни, искал свидетелей, рылся в старых бумагах. За эти годы и семейное положение его успело измениться: он разошелся с женой и, хотя та находилась в Петербурге, но жила отдельно от него. Он бросился к ней и умолял помочь ему как нибудь в этом деле. Вняв его просьбе, она перевернула вверх дном весь свой старый хлам и, как это ни невероятно, нашла расписку К—вича!

Н. поскакал к Андроникову с драгоценной бумажкой в руках. Тот, в свою очередь, был потрясен. Он проверил почерк К—вича и убедился в подлинности расписки. Тогда гнев его направился в другую сторону. Он тут же позвонил К—вичу и обрушился на него с резкими упреками. Они поссорились тогда надолго.

Наконец Н. прошел через все испытания, Андроников поверил в его невинность и согласился ехать в Саратов. Поехали они впятером: два адвоката и Н. со своей бывшей женой и братом, — двое последних в качестве свидетелей. Ехать надо было полтора суток.

Впоследствии Н. так описывал мне впечатления от своих адвокатов. Беренштам, как всегда, был ровен и благодушен, смешил своим обычным юмором и поднимал настроение у всех. На больших станциях с аппетитом закусывал, спал в дороге отлично. Андроников, напротив, нервничал все время. Особенно запомнилась Н. последняя ночь накануне процесса. «Конечно, — рассказывал он, — мы трое, то есть я, брат и жена, — не могли спать, сидели далеко за полночь и беседовали. Вдруг, — это была часа в два ночи, — дверь отворилась и в комнату, ничего не говоря, медленно вошел Луарсаб. Вид у него был ужасен, — бледный, глаза горят. Мы бросились к нему в испуге: «Что с вами, Луарсаб Николаевич?» — Он стал говорить нам, что его мучат сомнения в благополучном исходе процесса, что в случае обвинительного приговора он должен будет пустить себе пулю в лоб, иначе на него несмываемым позором ляжет защита взяточника. Мы успокаивали его, как могли, и я до того забыл свой собственный страх, что даже убеждал его, будто мне решительно все равно, обвинят меня или оправдают».

На утро все вместе отправились в суд. Беренштам, хорошо выспавшийся, был бодр и шутил. Луарсаб ёжился, как в лихорадке, и, когда вошли во двор суда, несколько раз незаметно перекрестился.

Подробностей судебного заседания я не помню. Запомнилось мне лишь, со слов Н., что когда суд объявил: «Нет, невиновен», — Андроников выскочил на середину зала и несколько раз низко поклонился судьям, повторяя: «Благодарю вас, благодарю вас». По свидетельству Н., он совершенно покорил сердца саратовских судей.

У Н. Д. СОКОЛОВА И М. М. ВИНАВЕРА

Увлекшись воспоминаниями об Андроникове, я потерял нить рассказа. Возвращаюсь к моим визитам по знаменитостям.

Второй визит был к Н. Д. Соколову. Тут впечатления были иные. Хорошая, барская квартира и богато обставленная приемная. Сам Соколов был элегантно одет и вид имел важный и

недоступный. Этот вид ему придавали окладистая, черная борода и гордая осанка. Этой великолепной бороде, да еще своему громкому голосу, в значительной мере обязан был Соколов своими адвокатскими успехами. Он производил ими большое впечатление на свидетелей в уголовном суде. Но красивых и талантливых речей я от него никогда не слышал. Говорил он с большим апломбом, но весьма бесцветно и даже не слишком гладко*). Его важная осанка отражала, повидимому, великое самомнение и внутреннюю холодность. Меня он принял очень холодно. Осведомившись о цели визита, сейчас же вызвал помощника, — Козловского, — и сдал ему меня для объяснений. Козловский смущенно стал толковать мне о том, как полезно молодым помощникам работать в окраинных консультациях для бедных. Я, кстати сказать, некоторое время и работал в двух таких консультациях, но без особой пользы для себя.

Третий визит был к Винаверу. Я не понимал тогда, какою смелостью было для меня, начинающего помощника, обращаться к Винаверу. Он был одним из первых, если не самым первым адвокатом-цивилистом в России. К чести Винавера надо сказать, что он принял меня куда любезней, чем Соколов. Он пригласил меня в свой прекрасный кабинет и уделил несколько минут беседе со мной. Он объяснил мне, что работы для начинающего помощника у него нет, и это была сущая правда, так как вел он исключительно крупные дела, — больше в Сенате. Он дал мне несколько советов общего характера и произвел на меня большое впечатление своей «министерьябельной» манерой держаться и разговаривать. Казалось, он пронизывал насквозь своими умными глазами. В конце концов и он сдал меня на руки своему помощнику В. С. Елпатьевскому, сказав мне, что этот последний примет меня под свое покровительство и будет мне полезным на первых порах моей деятельности. Но В. С. Елпатьевский, — сын писателя Елпатьевского, очень симпатичный на вид, не отличался особой сердечностью и никогда никакой услуги я от него не видал.

*) Позднее, уже в послереволюционное время, М. В. Бернштам однажды сказал: «Как это мы не заметили, что Николай Дмитрич (Соколов) — глуп».

Неудача этих трех визитов повергла меня в уныние. Я почувствовал, что стою на ложном пути и что надо действовать как то иначе.

М. В. БЕРЕНШТАМ

Тем временем я посещал старых друзей и здесь то и завязались новые знакомства, которые послужили мне на пользу.

У наших друзей Хохловых я познакомился с М. В. Беренштамом.

Беренштам был крупной персоной в сословии. В то время Член Совета, а впоследствии и Товарищ Председателя его, он всегда пользовался всеобщими симпатиями и уважением, как за свой ум, так и за свой веселый и спокойный нрав*). Брат Михаила Вильямовича Беренштама — Владимир — тоже присяжный поверенный, был необыкновенной толщины и вообще фигура чрезвычайно комическая. Он был тоже известным защитником в политических процессах. Среди коллег братьев называли для различия так: Беренштам толстый и Беренштам тонкий (хотя и Михаил был неособенно худой) или Беренштам умный и Беренштам глупый (хотя Володя и не был вовсе глуп, а лишь внешне комичен). В ту пору Михаил Вильямович слегка ухаживал за Евгенией Сергеевной Хохловой и часто бывал у них. Меня он охотно взял под свое покровительство. Мы встретились с ним в назначенный день в суде и он повел меня по лабиринтам его (это старое здание Петровского арсенала сожжено было одним из первых во время февральской революции) для ознакомления, как он выразился, с его «географией и этнографией».

Это верно, что ознакомиться с той и другой было делом необходимым и нелегким. Ходили мы вверх и вниз, взад и вперед, по полутемным, закопченным коридорам, канцеляриям, залам заседаний, то по гражданским отделениям суда, то по уголовным, то в нотариальном архиве, то в коридоре судебных следователей, — везде Беренштама знали, любили и уважали, всем он

*) Сам Крашенинников, старший Председатель Судебной Палаты, — гроза адвокатуры, любил и уважал его.

умел сказать словечко кстати. Он рассказывал мне о нравах канцелярий, — как раздобыть нужные сведения или бумаги, где можно и нужно сунуть канцеляристу на чай, знакомил меня с секретарями, а в кулуарах залов заседаний представлял коллегам, которые всегда радостно встречали Беренштама, ожидая от него интересного рассказа или остроумной шутки. Я уже не чувствовал себя в Петербургском суде таким одиноким и чужим, как в Москве, — я ощущал некоторую почву под ногами.

Но этого было еще мало. Где же найти практическую работу? Беренштам не мог дать мне таковой, — он занимался почти исключительно политическими защитами и о развитии гражданской практики не думал.

Здесь мне помогла встреча с другом моего детства Таней Ринек, ставшей женой присяжного поверенного Аннибала.

(Постскриптум: М. В. Беренштам скончался в Петербурге, в феврале 1932 г.).

Л. Н. АННИБАЛ

В мои гимназические годы главным врачом Тамбовской больницы был отставной профессор хирургии Киевского университета А. Х. Ринек, датчанин, по происхождению. Дочь его Таня была моей сверстницей и приятельницей. Вместе ездили каждое утро в город: она в женскую, а я в мужскую гимназию, вместе росли, вместе играли, вместе развивались. Гостя в имении проф. Сушинского, друга ее отца, она познакомилась там с правоведом Л. Н. Аннибалом, за которого через некоторое время вышла замуж.

Внешний контраст между ними был разительный. В одном они сходились: оба были худые и высокие, — но Таня была мечтательной блондинкой с голубыми глазами, хрупкой и нежной, а Аннибал, как настоящий потомок арапов, жгучий брюнет, полный энергии и страстности. Он был красивый, яркий мущина, всегда отлично одетый и любивший пожить. Он гордо носил свою красивую голову, обрамленную небольшой, черной бородкой, и был кумиром не только женщин, но и своих приятелей

мущин, которые любили его за жизнерадостный и великодушный характер.

По окончании Училища Правоведения Аннибал поступил в адвокатуру. Благодаря его общительности и знакомствам, практика у него стала быстро развиваться. В особенности помогла ему дружба с известным петербургским нотариусом В. Э. Гревс, который имел солидную клиентуру среди петербургской аристократии. Он снимал великолепную контору на Невском, против Казанского собора. Часть своего помещения он уступил Аннибалу под адвокатский кабинет и вместе с тем стал направлять ему своих клиентов. Таким образом, Аннибал, еще помощником, имел уже прекрасную практику и жил довольно широко. Впрочем он всегда жил не по средствам и впоследствии это и сгубило его.

Он страстно любил Таню в первые годы супружества, но, на несчастье, уже в эти первые годы у ней обнаружились признаки туберкулеза, который рано унес ее в могилу.

Первое время жизни их в Петербурге Аннибал поселил жену в Царском Селе, где климат считался суше и здоровее. Затем он отправил Таню на несколько месяцев за-границу для лечения. Она жила в Оспедалетти, в Италии. Чрезвычайно занятой делами, он все таки урывал время, чтобы съездить повидаться с ней.

Оттуда Таня писала мне очень интересные письма. Она унаследовала от отца серьезность и любовь к книге.

Ко времени моего переезда в Петербург Таня жила в Новой Деревне. Это была несчастная мысль Аннибала — поселить ее там, ибо в Новой Деревне было очень сыро. Но, с другой стороны, Аннибалу, при его работе, ездить каждый день в Царское Село было бы невозможно. В Новой Деревне Аннибал снял целый двухэтажный дом, на берегу Невы, и великолепно отделал его. Таня со своей маленькой дочкой Ириной занимала верхний этаж, а внизу жили ее родители, переехавшие из Тамбова.

Таня, — эта милая, добрая душа, — очень обрадовалась мне и встретила, как родного. Она внутренне была все тем же наивным ребенком, каким я знал ее в Тамбове. Такою, в сущности, она и ушла из жизни.

Узнав о цели моего приезда, Аннибал предложил мне работать у него. Он, несколько конфузясь, объяснил, что не может предложить мне сразу большого жалованья, но что он надеется устроить меня одновременно у своего приятеля Исаченко.

Рассчитывая устроиться помощником у какой либо из звезд адвокатского сословия, я без энтузиазма отнесся к этому предложению, тем более, что я совсем не был осведомлен ни о репутации Аннибала, ни о размерах его практики. Он был еще совсем молодой человек, только что вышедший в присяжные поверенные. Но когда я посоветовался с Беренштамом, то тот сказал, что лучшего мне нельзя и желать, что это именно то, что мне нужно, — работать у молодого адвоката с прекрасным будущим, как Аннибал. Он обещал, кроме того, замолвить за меня слово перед Исаченко, с которым состоял в дружеских отношениях.

Так определилась моя судьба. Приятели порешили между собой, что я запишусь официально помощником у Исаченко и буду работать у них обоих. Работа не замедлила себя ждать. В первый же день, как я явился к Аннибалу, он вручил мне досье и сказал, чтоб я тотчас же ехал к мировому судье и выступил там по его делу. Я перепугался: «Но я не знаю дела! Что мне там говорить?» — Аннибал рассмеялся. — «Что вы боитесь выступить у «мирошки»? Говорите, что хотите. Это пустое дело. Если проиграете, тоже не беда. Ну, до свиданья. Мне некогда». — Ему всегда было некогда.

Я поскакал к мировому судье, дорогой бегло просмотрел дело, выступил и что то говорил, — словом получил боевое крещение. А затем выступления в судебных заседаниях сделались для меня почти каждодневным занятием. Действительно, для привычки к адвокатской работе сотрудничество с Аннибалом было очень полезно. У него была большая и разнообразная практика: богатая, аристократическая клиентура. Исаченко и позднее Новиков сотрудничали с ним по некоторым делам и Новиков сказал мне как то: «Другому адвокату только раз в жизни приходится вести дело, каких у Аннибала десятки!»

Аннибал был очень способный адвокат, но дела вел довольно небрежно, затягивал их, делал все на спех и в последнюю мину-

ту. Таков был у него характер. Как я уже сказал, он прежде всего любил хорошо пожить и у него не хватало времени на все, — и на дела, и на развлечения.

Клиенты сидели в приемной часами, ожидая его прибытия, и нервничали. Одной из главных моих задач, наряду с подготовкой дел, и выступлениями в судах, были разговоры с клиентами и успокаивание их. Особенно тяжело приходилось мне, когда Аннибал уезжал из Петербурга. Клиенты являлись за справками, я знал, что дела не в порядке, — что иск еще не предъявлен, жалоба еще не подана, заседание отложено без особо уважительной причины, — а потому отвечал им хоть и успокоительно, но уклончиво. Мало по малу их недоверие и беспокойство возрастали и я начинал опасаться скандала.

Но являлся Аннибал и — все улаживалось моментально, — клиенты, а особенно клиентки уходили от него с довольными, улыбающимися лицами. Он умел обворожить людей своей любезностью.

Я многому научился в его кабинете, через мои руки прошло множество дел и, при том, разнообразных и интересных в юридическом отношении.

Несомненно, Аннибала ждала блестящая адвокатская карьера, у него были все данные для этого. Но были у него и слабости, которые его погубили. И главная слабость — расточительность, склонность к роскоши, жизнь не по средствам. Расходы его были велики потому, что, из за болезни жены, приходилось жить на две квартиры, то есть иметь отдельно деловой кабинет, что, вообще говоря, в среде русской адвокатуры не было принято. Но расходы эти возросли еще во много раз, когда мой патрон увлекся цыганской певицей Ниной Дулькевич. Он встретился с ней в Летнем Саду, на Крестовском острове, когда она была еще никому неизвестной певичкой. Только благодаря Аннибалу она сделала карьеру. Он потратил много денег на рекламу, на уроки пения, на устройство концертов. Кроме того выплатил немало и ее мужу, цыгану Дулькевич, который постоянно шантажировал Аннибала.

Однажды Нина Дулькевич прибежала к нему на Невский с плачем и жалобой на мужа, будто бы тот побил ее, и просила у

Аннибала покровительства и защиты. Аннибал, со своим великодушным характером, не сумел отделаться от нее, снял для нее квартиру и с тех пор окончательно связал себя с ней. Трудно понять, почему Аннибал, — элегантный, светский человек, — так сильно увлекся Дулькевич. Она вовсе не была цыганкой и не Ниной. Она была крестьянкой Рязанской губернии и по паспорту называлась Феклой. И собой она вовсе не была хороша, — толстая, грубая баба, светлая блондинка со вздернутым носом, — совсем Фекла. Пела она, тем не менее, талантливо.

Кончилось это трагически: он запутался в долгах, растратил клиентские деньги и был исключен из сословия.

Но этот финал произошел значительно позже, когда я уже не состоял у него помощником.

Жена моя с первой встречи хорошо сошлась с Таней Аннибал и полюбила ее. Мне особенно запомнился один вечер, проведенный нами у Тани, в Новой Деревне. Были мои друзья Горбунов и Ромм и показывали свои таланты: Горбунов декламировал свои стихи, Ромм импровизировал на рояле. У Аннибала были его приятели, — те играли в винт. Потом все соединились вместе и Аннибал, неожиданно для всех, стал декламировать известные стихи Апухтина: «Я ее победил — роковую любовь...»

Он декламировал с таким пафосом и волнением, что все почувствовали тут что то личное.

Таня была рада нам, просила навещать ее почаще. Она жила затворницей, редко выезжала, — отчасти по состоянию здоровья, отчасти по дальности расстояния от центра города.

Сестра ее Наташа в то время гостила у нее. Наташа знала об увлечении Аннибала, но оправдывала его тем, что Таня — больной человек и не может быть для него настоящей женой. Добрые приятели старались довести до слуха Тани об измене мужа, но она не верила им.

Вспоминаю еще нашу поездку к Тане на дачу, в Финляндию. Они занимали тогда прекрасную дачу на Черной речке, на высоком берегу реки, возле самого моря. Исаченко и Новиков прошли, запыхавшись, шесть верст пешком от станции жел.-

дороги и были очень горды этим подвигом. Мы катались с Таней на лодке по морскому заливу; потом наступила белая северная ночь и мы долго сидели в саду, среди высоких стройных сосен, за дружеской беседой.

Мы остались до другого дня, когда приехал Аннибал, на собственной яхте прямо из Петербурга, в красивом спортивном костюме, — воплощение здоровья и жизнерадостности рядом с бледной, угасавшей Таней.

Она была грустна почти все время, — верно уж угадывала истину.

Настал день, когда она вызвала меня на свидание и объявила мне, что решила уехать от мужа. «Мне давно говорили об его измене, но я не верила этому. Почему я не верила? Поймите меня: я несколько раз, в разные моменты жизни спрашивала его прямо об этом. Если б вы видели, что с ним делалось тогда! С какой страстностью он начинал клясться мне в любви, на коленях умолял меня не верить сплетням. Ну как мне было ему не поверить?... Но вот вчера, когда он сказал мне, что у него дела и он домой не приедет, что то толкнуло меня проверить. Я поехала вечером в летний сад «Олимпию», где «та» должна была выступать. И я увидела его с ней. Он был такой радостный, счастливый, — совсем другой, чем я привыкла видеть его дома последнее время. Я видела, какими глазами он смотрел на нее и — я поняла всю правду...

Я решила уехать от него сегодня же, не предупреждая его и не оставляя своего адреса. Прошу вас, проводите меня.

И другая просьба: я оставлю вам свой адрес и прошу писать мне все, что вы узнаете о нем».

Я понял ее просьбу: у нее была надежда, что он погонится за ней и вернет ее. Я сам думал так.

С тяжелым сердцем провожал я ее на Николаевском вокзале. Я не подозревал тогда, что вижу ее в последний раз. Она была в лихорадочном возбуждении, но в глазах ее я читал отчаянье.

Через несколько дней после того Аннибал пожелал видеться со мной и поговорить. У меня возникла надежда в душе. Но напрасно! Разговор вышел тягучий и никчемный. Он говорил о

том, как ему тяжело переживать отъезд Тани, как он любит ее, какой она причинила ему удар и т. д.

Но он не погнался за ней, не вернул ее. И такое отношение с его стороны окончательно убило ее. Она сгорела в несколько месяцев от скоротечной чахотки.

Умерла она и похоронена в Ялте.

Остается досказать про судьбу самого Аннибала.

После исключения из сословия и его полного раззорения, Нина Дулькевич охладела к нему и бросила его. Он стал зарабатывать, сотрудничая в газетах, но сильно потускнел и несколько опустился. Бедность была не по нем. Он переехал в Москву и я потерял его из виду. Все думали о нем — конченый человек.

Потом пришла война, революция, большевики. Вероятно, это было в 1918 году: звонок по телефону, — у телефона Леонид Несторович Аннибал!

«Какими судьбами?» — «Да, знаете, я устроился на работу в Военном Коммиссариате, в культурно-просветительном отделе, под руководством жены военного коммиссара Позерн. Она — интеллигентная женщина, работа приятная, хороший паек. Читаем лекции, организуем библиотеки и клубы. А вам я позвонил, чтобы попросить об одном одолжении: если поедете в Тамбов навестить вашу матушку, не откажите тогда отвезти маленький подарок дочке моей Ирине, которая живет там с бабушкой, — Дарьей Петровной Ринек». Я обещал исполнить просьбу, если поеду в Тамбов.

Но при большевиках съездить туда мне не довелось.

Прошло еще некоторое время и вдруг читаю в газете: «Приговорены к высшей мере наказания: такие то и такие то, — грабители, разбойники, спекулянты и т. д. И между ними: за «шпионаж» и сообщение сведений в иностранные газеты — бывший присяжный поверенный Л. Н. Аннибал, исключенный в свое время из адвокатуры за растрату клиентских денег».

Так трагически кончилась и эта жизнь.

В. В. ИСАЧЕНКО

Мой молодой патрон Василий Васильевич Исаченко был полной противоположностью Аннибала во всех отношениях. Единственное, что соединяло их, но соединяло крепко, — это их школьная дружба, они были товарищами по Училищу Правоведения.

Исаченко имел вид аккуратного молодого ученого. Высокий светлый шатен с редкими волосами, небольшая бородка, коротко подстриженные усы и очки в золотой оправе. Манера держаться несколько высокомерная и насмешливая. Василий Васильевич был немалого мнения о себе и, несомненно, имел к тому некоторые основания. Он гордился, во-первых, тем, что он — правовед. Во вторых тем, что он сын знаменитого сенатора Василия Лаврентьевича Исаченко, замечательного юриста и автора многочисленных юридических трудов. От отца он унаследовал его великолепную память и склонность к юриспруденции. Но в то время как отец его был юрист-самоучка, — учитель математики, перешедший в судебное ведомство и сделавший карьеру благодаря своим исключительным способностям, — Василий Васильевич получил блестящее юридическое образование. По окончании Училища Правоведения он пробыл еще год или два за-границей, в Берлинском университете. В адвокатуру он пошел благодаря своим «левым» убеждениям. Вначале он вступил в группу политических защитников, но, проведя несколько защит, от деятельности группы отстал, — вероятно потому, что его манера говорить на суде, — слишком сухая и деловитая, — не подходила для выступлений по уголовным делам.

Вас. Вас. вообще по натуре был суховат и большой рационалист. Он делал все по разуму и по правилам, поэтому все у него выходило как то не просто, неестественно. Отличался он немалым честолюбием и особенно высоко ценил хорошее воспитание и внешнюю корректность в отношениях между людьми. Он старался быть образцовым патроном, строго соблюдал все правила и традиции сословия и пуще всего боялся, как бы кто

нибудь не заподозрил его в малейшем отступлении от этих правил. Таков был мой патрон, с которым мне пришлось каждодневно встречаться и близко сотрудничать в течение пяти лет моего стажа.

Как я уже сказал, он был высокомерен. Принадлежность к правоведам он считал доказательством своего аристократизма, хотя, как верно указал один из его приятелей, Исаченко был таким же сыном провинциального чиновника, как и Новиков, и я, и многие другие. И ко мне, провинциалу, он отнесся вначале со снисходительной небрежностью. Вскоре он дал мне на пробу разработать один юридический вопрос. Я постарался, засел за книги и написал ему заключение, какого он, видимо, от меня не ожидал, так как не только похвалил меня, но и рассказал о моем успехе и Аннибалу, и Тане. С тех пор мнение его обо мне несколько улучшилось.

Я начал работать у Вас. Вас. в очень тяжелый момент его жизни: он только что разошелся с женой. Эта семейная история как нельзя более подчеркивает особенности его характера.

В. В. женился рано, еще будучи помощником, на Екатерине Ивановне Корсаковой, дочери присяжного поверенного И. А. Корсакова, новгородского помещика, именье которого находилось по соседству с именьем сенатора Исаченко.

Ничего не могло быть естественней такого брака и все, казалось, предвещало новобрачным полное счастье. Другой их сосед по именью, — маститый Дмитрий Васильевич Стасов, один из могикан Судебной Реформы, а в мое время председатель Совета Присяжных Поверенных, — так и воспринял известие об этом браке. А потому (отчасти, впрочем, и по старости лет), он никак не мог усвоить впоследствии, что брак этот расторгнут и что Катенька больше не жена Васеньки. При встрече с Вас. Вас. он неизменно осведомлялся о здоровьи Катеньки, хотя Вас. Вас. давно уже был женат во второй раз и вторая его жена называлась Клавдией, а не Екатериной.

Молодые поселились на Басковом пер. и зажили счастливой жизнью. Вскоре у них появилась дочь — Ирина. В.В. начал вос-

питывать ее строго методически, по немецким книгам, и этим досаждал бедной Ек. Ивановне, не позволяя ей баловать девочку и брать ее на руки, когда та плакала.

Друзья Вас. Вас. охотно навещали молодых супругов, тем более, что у Ек. Ив. был приятный и веселый характер. Друзья эти все понемножку ухаживали за ней, — ухаживал и Аннибал, и Новиков, и Бруно Германович Барт, помощник Карабчевского. Ухаживание это было совершенно невинным и Екатерина Ивановна отвечала на него столь же невинным кокетством, но Вас. Вас., после глубокомысленных размышлений, пришел к выводу, что Бруно Барт по характеру своему гораздо больше подходит Екатерине Ивановне, чем он, Исаченко. И, при всей своей любви к Ек. Ив., он стал внушать ей эту идею и так успел в этом внушении, что уговорил ее разойтись с ним и выйти замуж за Барта.

А когда она с Бартом отправлялись в свадебное путешествие, то Вас. Вас. явился на вокзал провожать их и даже поднес букет цветов. Однако, вернувшись домой, он впал в такое отчаяние, что друзья его в течение нескольких недель не оставляли его одного, боясь с его стороны какого либо неуравновешенного поступка.

Так, по крайней мере, описывал мне всю эту историю Аннибал.

Когда я появился в кабинете у Исаченко, у него почти никаких дел не было. Вас. Вас. принципиально не принимал мелких дел, а, тем более, дел у мировых судей. Он верил в свою звезду и, не нуждаясь в средствах, предпочитал выжидать. И помощника, я думаю, он взял тогда больше «для фасона». Изредка он поручал мне какую нибудь справку в суде. Тем не менее, как человек пунктуальный, он требовал, чтобы я аккуратно являлся к нему по утрам. Иногда обсуждали какой нибудь юридический или сословный вопрос, а то он просто учил меня уму-разуму. Я был в ту пору достаточно наивен во всех житейских вопросах, он же был все таки на несколько лет старше меня и, главное, — столичная штучка.

Его душевная рана в то время еще невполне зажила, — в

квартире его одна комната стояла совершенно пустой из пиэтэта к Екатерине Ивановне, которая эту комнату занимала.

Скучая в одиночестве, он нередко приглашал меня остаться позавтракать с ним вдвоем. Вначале я несколько робел перед ним, но, под влиянием нескольких стаканов доброго вина, я становился смелее, а мой патрон забывал свою важность, и наша беседа оживлялась. Василию Васильевичу, видимо, нравилось эпатировать такого наивного провинциала, как я. И правду сказать, эпатировал меня он многим. Прежде всего, своей великолепной памятью. Он декламировал стихи без конца и, чаще всего, входивших тогда в моду Брюсова и Бальмонта. Он вообще много читал и был широко образованным человеком. Одно время, подражая в этом отношении своему отцу, он изучал старинные церковные распевы и необыкновенно фальшивым голосом напевал их мне, объясняя разницу в их музыкальном строе. Хотя он и кичился своим пристрастием к музыке, но на самом деле не был музыкально одарен.

В Петербурге царило в те времена сильное увлечение Вагнером. В Мариинском театре объявлено было несколько абонементов на «Кольцо Нибелунгов» и петербургские снобы покупали их нарасхват. Вас. Вас. тоже купил абонемент и каждую неделю слушал Вагнера в обществе Тани Аннибал, с которой он был в большой дружбе. Однако Таня, смеясь, рассказывала потом, что со второго акта Вас. Вас. начинал клевать носом, а случалось, что и сладко храпел. Иногда во время наших завтраков от лирики и музыки Вас. Вас. перескакивал в другую область: он был мастер рассказывать анекдоты (не всегда приличные). Я в то время был еще весьма застенчивым молодым человеком и, хоть и старался не ударить лицом в грязь перед патроном, но ему все таки удавалось иной раз приводить меня в смущение, чем он был всегда крайне доволен. Так создались у нас полуофициальные, полудружеские отношения.

Практика у Вас. Вас. год от году стала быстро расти. Во многом помогало ему, конечно, имя отца, но, надо отдать ему должное, Вас. Вас. сам был блестящим цивилистом и вскоре сделался одним из лучших адвокатов-кассаторов, то есть защищавших дела в кассационном Сенате. Его недостатком было, как я

указывал, сухость его речей, носивших скорей характер доклада, чем судебной речи, но для Сената такой характер речи был вполне уместным.

Таким образом, я попал к нему в идеальную школу. Практика у него создалась, мало по малу, очень разнообразная и интересная. Метод ведения дел у него был образцовый, разрабатывал он все вопросы самым тщательным образом. В моральном отношении он придерживался всегда лучших традиций сословия. Наконец, и в отношении канцелярской организации он был большим любителем порядка и точности. У него уж не могло быть, как у Аннибала, запаздывания в подготовке дел, пропуска сроков, небрежного составления бумаг, неполноты досcье и т. д., не говоря уж о неаккуратности в денежных рассчетах с клиентами.

Летом Вас. Вас. уезжал на два-три месяца на отдых. Оставляя на мое попечение свой кабинет и клиентов, он поручал мне нередко подготовку целого ряда крупных дел. И я не сидел сложа руки: иногда целые досcье были полностью составлены мною в его отсутствие. Когда стаж мой был окончен и Вас. Вас. расставался со мной, он, расчувствовавшись (что с ним не часто случалось), сказал, что он многим обязан мне в развитии своей практики. И в самом деле, практика эта создавалась и вырастала на моих глазах и при ближайшем моем содействии; я работал на него не за страх, а за совесть, и вкладывал в эту работу весь пыл моего молодого усердия.

От этой эпохи наших отношений, когда Вас. Вас. был еще холостым и жил в Басковом пер., у меня осталось хорошее впечатление об нем, как о добром малом. Но вот женился он во второй раз и — переменился.

Я уже сказал, что у Вас. Вас. ничего не делалось попросту. Так и вторая женитьба его обставлена была разными таинственностями. Началось с частых поездок его в Киев и пошли между приятелями слухи, что у Вас. Вас. в Киеве есть сердечное увлечение. Но почему в Киеве? Откуда же это взялось?

Оказалось, — «она» — артистка, а познакомились они в Петербурге, когда она играла в маленьком театре на Васильевском

острове. Затем она уехала на гастроли в Киев, — потому Вас. Вас. и зачастил туда.

Потом вдруг, как, снег на голову, известие: «Васька», как называли его приятели, — женился. Но где? Когда? Никто не знал. Даже я, его ближайший помощник, видевшийся с ним каждый день.

Был у него, действительно, вид таинственный и озабоченный.

Мало-по-малу загадка разъяснилась, хотя он сам все еще не говорил ни слова. Женился он на Клавдии Лукьяновне Соколовой, — драматической артистке, — и снял для нее квартиру на Митавском переулке, недалеко от своей. Они сошлись характерами: Клавдия Лукьяновна тоже была человек «с фокусами» и находила, что так гораздо лучше, когда супруги живут на разных квартирах. Кроме того, они говорили друг другу — «вы».

Он долгое время не показывал ее никому, а сам постоянно отсутствовал из дому, к завтракам больше меня не приглашал и сделался со мной малосообщительным и более официальным. Год, кажется, продолжалось это житье на разных квартирах, а потом они решили, что жить вместе все-таки удобней. И тогда Вас. Вас. снял прекрасную большую квартиру на Сергиевской улице, в аристократическом квартале Петербурга. Здесь он сделался со мной еще важней и официальней, да и со всеми держался важно, как «большой адвокат». В то же время, к удивлению моему, обнаружилось, что Вас. Вас. — «муж под башмаком». Жена настолько влияла на его вкусы и взгляды, что даже отдалила от него некоторых закадычных друзей, как например, Новикова и Аннибала. За то появились новые приятели — из артистического мира, хотя Вас. Вас. как то плохо попадал им в тон. Клавдия Лукьяновна держалась дома царицей, а Вас. Вас. смотрел на нее с обожанием. Ко мне спервоначала она отнеслась свысока и официально: помощник мужа, — существо подчиненное, имеющее отношение к ведению судебных дел, а суд, юриспруденция и прочее, — все это было для нее явлениями низшего порядка в сравнении с великим искусством, которому она служила. Случайно открылся для меня уголок занавеса в этот другой мир Вас. Вас. Весьма сконфуженно попросил он меня рассмотреть один договор и высказать свое мнение

о нем. В договоре значилось, что некий антрепренер Ф—ий обязуется снять Панаевский театр и организовать там серию драматических представлений с участием, в главных ролях, Клавдии Лукьяновны, а Вас. Вас., со своей стороны, обязуется давать деньги на предварительные расходы по организации этих спектаклей. А затем чистая прибыль делится пополам. Кончилось это так, как должно было кончиться: у Фальковского оказались через некоторое время деньги Вас. Вас., а у Вас. Вас. — опыт. Тот устроил несколько репетиций пьесы «Дочь Иорио» и, таким образом, дал возможность Клавдии Лукьяновне продекламировать свою роль перед другими артистами, но дальше репетиций дело не пошло.

После этой неудачной попытки на поприще драматического искусства Кл. Лук. направила свои стремления в другую область, — в область хореографии. Еще живя в Москве, она брала уроки пластики у одной из последовательниц Дункан (Рабенек?). Теперь она сама сделалась ярой прозелиткой идей Изадоры и открыла у себя на Сергиевской студию пластического искусства. Она пробовала также выступать перед публикой в пластических танцах, — соответствующий вечер был устроен в зале Тенишевского училища, — но успеха она не имела. Аннибал, бывший на этом вечере, нашел, что она тяжеловата для танцев.

Вас. Вас. преклонялся перед идеями и начинаниями супруги и охотно исполнял все ее прихоти. Большой зал на Сергиевской отведен был под студию, задрапирован разноцветными материями, и занятия начались. Приятели подшучивали, что Клавдия заставляет и Вас. Вас., в одних трусиках, выделывать разные упражнения. Было ли это правдой, — не знаю, но патрон мой, по мере того как богател, — а он любил хорошо покушать и выпить, — несколько округлился и страдал от сознания, что у него растет животик, так что занятия пластикой могли послужить ему на пользу.

Затем произошло что то такое, что заставило Клавдию Лукьяновну переменить мнение обо мне, так как я со своими приятелями был, наконец, допущен во «святая святых»: мы, то есть я, Ромм, Бердников и Горбунов стали удостаиваться иногда при-

глашения к ним по вечерам. Этим мы обязаны были, вероятно, нашим артистическим склонностям: я и Бердников пели, Ромм играл на рояле, Горбунов декламировал.

Мы сблизились семьями, когда жили, одно лето, рядом на даче, в Финляндии. Там жилось нам прекрасно, в этом типичном уголке Финляндии, на берегу моря, далеко от железной дороги, — километрах в 12-ти. Супруги Исаченко жили там с детьми, — Тусей, дочерью Кл. Лук-ны от первого брака, и малышем Саней, — и нисколько не скучали в этом уединении. Иногда вечером они заходили к нам в самом поэтическом настроении духа, слегка навеселе — после сытного обеда, и Вас. Вас. восхвалял пельмени или иное блюдо, изготовленное ручками самой Клавдии Лукьяновны. Словом, они казались вполне довольными друг другом.

Пластические танцы Дункан были в то время еще новостью в Петербурге, а потому студия Кл. Лук. имела успех. Когда она собрала и обучила группу учениц, ей стало казаться тесным на Сергиевской, захотелось «большого плавания». И вот Вас. Вас. снял для ее школы хорошую квартиру на Ивановской, а Кл. Лук. устроила и декорировала ее по своему вкусу.

Состоялось торжественное открытие. Кл. Лук. произнесла вступительное слово, в котором проповедывала возврат к идеалам красоты и эстетическому воспитанию в духе древней Эллады, и продемонстрировала своих учениц. Изображали они нам, — в греческих туниках и на босу ногу, — и воинственные танцы, и вакхические, склонялись в отчаянии над погребальной урной, молились перед жертвенником, словом исполняли все, что полагается согласно идеям и методе Айседоры Дункан. Клавдия Лукьяновна торжествовала, Вас. Вас. умилялся, мы все чувствовали себя празднично настроенными. В перерыве было сервировано очень вкусное угощение; много было приглашенных, — друзей, знакомых, деятелей искусства. Все уписывали за обе щеки и говорили комплименты хозяйке. Луарсаб Андроников покачивал головой с очень сосредоточенным лицом и повторял: «Д-да, это з-замэчатэлно...». Но ехидный профессор

гражданского права Петербургского университета В. Н. Нечаев, с которым Вас. Вас. иногда консультировал, тихо говорил мне за чашкой чая: «Конечно, это очень интересно. Босоножки! Эллада! Но у нас не Эллада, а Петербург. Здесь так сыро, холодно... Где уж тут в хитонах гулять!»

Этот вечер был апофеозом Клавдии. Потом вскоре пришла война, за ней революция. Она перенесла деятельность свою сначала на юг, в Анапу, а потом — за-границу, где ее с ее балетом ждал большой успех.

Летом 1914 года мы с женой были в Швейцарии, в Визене, возле Давоса, и там получили письмо от супругов Исаченко. В момент объявления войны Исаченко находились в Мюнхене, на Вагнеровских торжествах. Их арестовали, держали в казарме, обращались очень грубо, и, наконец, выпроводили в Швейцарию. Они прибыли в Женеву, нравственно и физически измученные и без денег. К счастью, у них оказались друзья в Италии, в Виарреджио, там их приютили, успокоили и снабдили деньгами.

Мы списались с ними и, после разных мытарств, встретились в Венеции, чтобы оттуда вместе возвращаться в Россию. Война уж началась и, в виду большого наплыва пассажиров, достать билеты на пароход было делом нелегким. Мы устроились коекак на итальянском товаро-пассажирском пароходе, который вез нас до Константинополя 12 дней, вместо нормальных двухтрех дней. Из коммерческого рассчета итальянцы превратили двухместные каюты в четырехместные. Таким образом, нам с четой Исаченко пришлось помещаться вчетвером в одной маленькой каюте, что было весьма неудобным. Мы раздевались и мылись поочередно и прятались друг от друга за занавески. Жена моя страдала, вдобавок, от морской болезни (хотя море все время было довольно спокойным), а Вас. Вас., чтобы предохранить себя от этой болезни, усиленно налегал на красное вино. Кормили нас скверно и в смысле удобств путешествие оставляло желать многого, но нам пришлось видеть столько интересного по пути, что мы забывали иногда о трагичности момента и об опасности нашего положения. В Бриндизи мы купались в море и ездили кататься на парусной лодке, в Корфу сходили на

берег, чтобы осмотреть замок Вильгельма «Ахиллеон»; в Афинах мы отправились в Акрополь, благо пароход стоял там полдня.

Клавдия была в упоении. Какой торжественный момент: ее ноги ступают по земле подлинной Эллады! По этому случаю и за отсутствием у нее древнегреческих одежд, она облеклась в широкий капот, одела сандалии на босу ногу и с распущенными волосами, без шляпы, шагала рядом с нами по улицам Афин. А современные греки, в пиджаках и котелках, с удивлением останавливались при виде столь эксцентричной иностранки. За то, когда мы очутились возле Пропилей и стали бродить среди разрушенных памятников и алтарей, пришлось ей торжествовать, так как наши пиджаки и канотье никак не подходили к столь величественной декорации. Она дошла до такого экстаза, что пустилась в пляс среди руин греческого театра, и я должен признать, что здесь ее танцы вполне подошли к обстановке и доставили нам полное удовольствие.

После Афин мы остановились в Салониках. Здесь Вас. Вас. во что бы то ни стало захотел попариться в настоящей турецкой бане. Я уступил его желанию и мы сошли с ним для этого на берег, хотя пароход наш стоял там сравнительно короткое время.

После того нам предстояло пройти Дарданеллы и Константинополь. Настроение наше стало тревожней, ибо Турция с минуты на минуту могла вступить в войну на стороне Германии и мы оказались бы ее пленниками. Вас. Вас. весьма остро реагировал на эти опасения. Он конфиденциально сообщил мне, что приобрел яд и что в случае, если они с Клавдией Лукьяновой попадут в плен, они решили отравиться. И он передал мне ряд распоряжений на случай своей смерти.

Но, слава Богу, мы благополучно добрались до Одессы.

На войну Вас. Вас-ча не взяли по слабости зрения.

Пришла революция. На Вас. Вас. она подействовала сначала неожиданным образом: он опять полевел. Я говорю —

«опять», потому что по мере того, как благосостояние его увеличивалось и он становился «большим» адвокатом, он политикой перестал интересоваться, сделался много эгоистичней и, по выражению близких своих приятелей, «обуржуазился».

В первые месяцы революции 1917 года, в эпоху всеобщего развала, жители Петербурга начали организовываться по районам: выборные представители домов выбирали районные комитеты, которые ведали всеми местными нуждами, то есть полицией, продовольствием, санитарией и проч. Обсуждался, между прочим, вопрос об организации внепартийной городской милиции. В нашем комитете, весьма умеренном по составу, крайними левыми были только представители Литейного завода, — рабочие. Эти последние внесли предложение об учреждении «рабочей красной гвардии». Проект этот, конечно, провалился, но, ко всеобщему удивлению, Исаченко поддержал его. Этот его левый уклон был совершенно искренний, но, с приходом к власти большевиков, он от него быстро излечился. Положение его семьи в хорошей барской квартире, на Сергиевской улице, было далеко не безопасным. И он вскоре увез ее на юг, в Анапу, где они и обосновались впредь до своего отъезда за границу.

Здесь в эмиграции мы с ним так и не встретились. Он с женой и сыном жили сначала в Сербии, а потом в Германии. Вскоре по приезде моем в Париж я получил от него исключительно теплое, сердечное письмо из Белграда. Но, обменявшись со мной несколькими письмами, он переписку эту прекратил. Я узнал впоследствии, что Клавдии Лукьяновне удалось составить балетную труппу из своих учениц, с которой она разъезжала по славянским и германским странам и имела там большой успех. Василий Вас. исполнял обязанности менеджера этой труппы, но такая работа его не удовлетворяла. Вообще свое эмигрантское положение он переносил очень тяжело.

Незадолго до своего трагического конца (он умер 6 августа 1925 г.) он написал мне письмо, — довольно откровенное и

очень печальное. В нем он говорил, между прочим, о своем желании скорейшей смерти*).

М. А. ИСАЕВ

Не помню, когда и при каких обстоятельствах прекратилась работа моя у Аннибала. После него Вас. Вас. устроил меня у Мстислава Андреевича Исаева. Они были приятелями еще с Берлина, где Мстислав Андр. тоже усовершенствовался в юриспруденции, по окончании петербургского университета. М. А. Исаев, сын известного профессора-экономиста, был человеком совсем иного типа, чем Исаченко. Исаченко не был красавцем, но все же был видный, интересный мужчина, тогда как Исаев, — небольшого роста, сутулый, рыжеватый, с редкой растительностью на голове, которую он прикрывал даже паричком, с нездоровым цветом лица и неприятно прищуренными глазами, нисколько не походил на столичного адвоката.

Вас. Вас. был барин, — любил хорошо одеваться, любил шиковать (но в меру, — не как Аннибал), любил выезжать в театры, в концерты, имел очень разносторонние интересы, был в курсе всего новенького в литературе и искусстве, словом был светский человек и даже грешил снобизмом, а дела, юриспруденция, — все это было у него на втором плане; по крайней мере, такой он делал вид.

Для Исаева же в делах и в юриспруденции заключалась вся суть жизни. Жена его жаловалась мне, что, когда он приезжал на дачу, то прежде чем поговорить с ней, он доставал из чемодана свои дела и бумаги, раскладывал их на столе и тотчас погружался в них. Он был отнюдь не светский человек, в гости

*) Вскоре после его кончины Клавдия Лукьяновна писала друзьям: «Все его терзало и мучило, хотя на людях он очень бодрился. Россия, в которую он не чаял вернуться, ее судьба, жизнь без работы «своей», не дающая удовлетворения... вечная кочевая жизнь без связи с людьми его мысли и уровня... боязнь, что его товарищи отвернулись от него из за его деятельности эгоистической, что не делает он общественного дела, и много, много другого, что наслаивалось в его душе и разрешалось в его понятии лишь роковым концом...»

ходить не любил, — ходил лишь по необходимости, больше к родственникам. Лучшим обществом, лучшими друзьями были для него клиенты, самым интересным разговором — разговор о делах. Та же супруга его, милейшая Анна Федоровна, со смехом рассказывала мне о своих страданиях, когда ей приходилось выезжать с мужем. Сидит он, бывало, где нибудь в углу, один, и мрачно оглядывает всех поочереди своими прищуренными глазами, пощипывая короткие рыжие усы. А взгляд у него был пренеприятный, — пронзительный и недоверчивый, как у судебного следователя. «Вдруг вижу, — рассказывает Анна Федоровна, — нашел он собеседника, оживился, руками размахивает, что то объясняет. Подхожу поближе, прислушиваюсь: ну, конечно, разговор идет о каком то судебном процессе!» Музыки он терпеть не мог, о чем говорил совершенно откровенно. В театр ходил смотреть только легкие, веселые пьесы. В своей родственной компании он мог иногда быть веселым, чувство юмора у него было развито и он любил язвительно подшучивать. В общем это был очень умный и своеобразный человек. И адвокат он был своеобразный.

Судебных, исковых дел он не любил, а выступать в суде, напяливать фрак, проводить томительные часы ожидания в душных, прокуренных и грязных коридорах суда, было для него настоящей пыткой. Он вел особого рода дела, — его специальностью было спасать владельцев «Вишневых садов», — раззоряющихся помещиков. Как только дело такого рода поступало к нему, он немедля забирал с собой бухгалтера и ехал производить расследование на месте. Он, кстати, очень любил деревню. Первым делом он ревизовал управляющего, — немца или латыша, по большей части, — и почти всегда находил воровство и упущения. Отстранив того от дел и приведя в наличность актив и пассив именья, он приступал к лечению болезни.

Если именье было не слишком запущено и обременено долгами, он хлопотал о ссуде и старался организовать его рациональную эксплуатацию. Если же это помочь делу уж не могло, то приступал к ликвидации, разбивая именье на участки и распродавая их крестьянам с помощью Крестьянского Банка. Он

особенно любил осуществлять эту последнюю операцию, считая ее экономически полезной.

Расстояния его не стесняли, — путешествовать было для него удовольствием. Лучше всего спалось, лучше всего думалось ему дорогой, в вагоне. В самом лучшем настроении видел я его в тех случаях, когда мы ездили с ним по делам в дальние поездки, — в Минск или в Одессу, например.

Когда я поступил к нему, у него было дело по управлению имением светлейшей княгини Имеретинской, в Тульской губ., и он постоянно разъезжал между Петербургом и Тулой. Это нисколько не тяготило его, — напротив, он скучал от долгого сидения на месте. Позже у него было в производстве дело г-жи Ш. в Херсонской губ. Дело это мне особенно памятно потому, что я вел процесс г-жи Ш. против ее управляющего, уличенного Исаевым в неблаговидных и убыточных действиях, и выиграл его во всех инстанциях, до Сената включительно, несмотря на то, что Исаев считал его для своей доверительницы проигрышным. После этого он весьма уверовал в мои адвокатские способности и все судебные выступления по своим делам возложил почти исключительно на меня.

Одно время Исаев давал ответы по юридическим вопросам подписчикам журнала «Вестник Знания», издававшегося Битнером. Оплачивалось это занятие очень плохо, но, тем не менее, чрезвычайно увлекало Исаева. Вопросы часто ставились сложные и запутанные, но это только раззадоривало его. Иногда для решения этих вопросов он забывал гораздо более важные и выгодные дела. Во время его долгих путешествий это занятие служило для него отличным развлечением. Лишь Анна Федоровна жаловалась мне неоднократно на подписчиков Битнера: они совсем отняли у нее мужа, — он только и думал об ответах на их вопросы и не слушал, о чем она его спрашивает.

Благодаря большому опыту в управлении имениями Исаев смотрел на ведение судебных дел несколько иначе, чем большинство адвокатов. Его интересовала не столько юридическая правота его клиента, сколько практический результат процесса. «Главное, коллега, — говаривал он, — надо сразу занять фактически сильную позицию в отношении спорного имуще-

ства, а что там формальности, суд, — это не уйдет, это история длинная. Пока будешь судиться, имущество портится и может совсем обесцениться». Он несколько скептически относился к правосудию. При всем том юрист и адвокат он был замечательный. Исаченко говорил, что из всех петербургских адвокатов он меньше всего хотел бы иметь противником Исаева. В самом деле, я не знаю другого адвоката, который бы до такой степени уходил с головой в свою работу. Когда к нему поступало дело, которое его интересовало, он, можно сказать, забывал о еде и сне, — во всяком случае, ничем другим не интересовался, а только обдумывал новое дело, как к нему приступить, как его «поставить», какие предохранительные меры принять в отношении спорного имущества. Эта упорная, постоянная работа мысли обнаруживались в нем в самые различные моменты дня, в самых разнообразных положениях. Иногда он звонил мне по телефону среди ночи, иногда вскакивал из за стола посредине обеда, чтобы поделиться внезапно пришедшей мыслью. Я уже сказал, что в ведении дел был для него весь интерес и вся поэзия жизни, если вообще он когда либо нуждался в поэзии.

У В. В. Исаченко было много друзей. Один из них, В. Н. Новиков, уверял меня, будто бы Вас. Вас., как человек методичный, распределил этих друзей по своего рода табели о рангах: был у него друг номер первый (нотариус Гревс), номер второй (Аннибал) и т. д., и что иногда, за те или иные проступки он понижал или повышал их в ранге. У Исаева близких друзей не было. Сердце его лежало больше всего к брату его жены — доктору Федору Федоровичу Шишмареву и это казалось весьма странным всем, кто знал хорошо их обоих. Вас. Вас. Исаченко презирал Шишмарева и считал его пошляком, но, мне кажется, он судил о нем слишком строго.

Шишмарев был хорошим детским врачем и имел обширную практику. Особым глубокомыслием он действительно не отличался, но был очень неглупым человеком и подкупал всякого своим легким и веселым характером. Он легко завязывал знакомства и становился на дружескую ногу. Любил покутить и не-

редко увлекал за собой мрачного Мстислава Исаева и, что еще удивительней, всегда умел развеселить этого последнего.

Исаеву он оказал большую услугу впоследствии, по приходе к власти большевиков. Уехав из Петербурга от голода и холода, Исаев с семьей поселился в деревне, на Украине. Туда же приехал и Шишмарев и скоро сделался столь популярным среди крестьян, что они не только щедро снабжали его провизией, но и защищали от придирок и притеснений со стороны представителей революционной власти, часто сменявшейся в ту пору на Украине. А за его спиной спасался и Исаев. «Меня все так и называли там: «зять доктора», — рассказывал Исаев, — это было моим званием».

Я тоже дружил с доктором и обязан ему многими веселыми похождениями. Но за что особенно я должен быть ему благодарным, — он сделал из меня охотника. Мы с ним вместе выбирали и пробовали первое ружье, которое я купил себе. Часто и охотились мы в имении «Велькота», Ямбургского уезда, принадлежавшем клиенту и другу Исаева Федору Ивановичу Блоку. Охотились мы там и гостили и золотой осенью, и глубокой зимой, и много сохранилось у меня приятнейших воспоминаний о проведенном там времени.

У Исаева тоже была семейная история, хотя, казалось бы, это вовсе ему не подходило. И очень туманная была эта история, — я так ее и не понял. Почему то, — и совсем неожиданно для всех, супруги разъехались: с квартиры на ул. Жуковского, где он жил с семьей, Исаев один переехал на Садовую улицу. Но он не бросил семьи, продолжал бывать на ул. Жуковского. Со стороны могло казаться, что Исаевы просто осуществили идею Исаченко о преимуществах супружеской жизни на разных квартирах. На самом деле это было не так: Анна Федоровна очень страдала, — она сама заговорила со мной об этом, хотя был скрытна и самолюбива. Но причин их разъединения я все таки не узнал и от нее. Он, конечно, ничего не объяснил мне, но крайне пораженный доверием ко мне Анна Федоровны, очень просил влиять на нее успокаивающим образом. В конце концов у меня создалось впечатление, что дети и жена, семейные и светские обязанности, мешали ему погружаться в

дела с той полнотой, как он того желал. Там, на Садовой, ему уж никто не мешал.

Исаев был зябкий, любил теплоту, и я часто заставал его у горящего камина, в теплом халате и с ермолкой на голове, погруженного в дела или книги. Он, видимо, наслаждался своим одиночеством, но всегда радовался моему приходу и подолгу беседовал со мной на юридические темы.

В услужении у него была странная немецкая чета по фамилии Гамрат; особенно оригинальную фигуру представлял из себя муж, — херр Гамрат. Высокий, худой, уже немолодой немец, с большими черными усами и с красной физиономией от сильного злоупотребления спиртными напитками. Гамрат часто попадал в драки по пьяному делу и потому нередко ходил с фонарем под глазом. Тем не менее он держался очень гордо. Он носил старомодную шинель с барского плеча, клетчатые брюки и широкий галстук. Во внешности его было нечто от итальянского разбойника. Исаев часто давал ему деликатные поручения, например: собрать частные сведения о должнике, о его действительном адресе, о его имуществе и т. д. Гамрат с обстоятельностью докладывал потом собранные им сведения и, при том, объяснял подробно, как он их добывал, — сколько кружек пива он выпил с дворником или со швейцаром и пр. Этого рода деятельностью он чрезвычайно гордился и считал себя главным и необходимым помощником Исаева в ведении всех дел.

Прихожу, бывало, на Садовую, — отворяет Гамрат, торжественно приглашает меня в приемную, просит обождать и объясняет (он был очень многословен), что пойдет посмотреть, занят ли барин и может ли он принять меня. Через некоторое время возвращается и сообщает вполголоса: « Der Herr spielt mit dem Hunde (собачка принадлежала госпоже Гамрат), aber Sie koennen hineingehen ». Последнюю фразу он произносил покровительственным тоном. Он много забавлял Исаева и меня своими чудачествами.

С Исаевым мы оставались в дружеских отношениях все время пребывания моего в России. Как я уже рассказывал выше, из большевистского голодного Петербурга он уехал в Малорос-

сию. В 1920 году он появился снова в Питере, — приехал на разведку, как он объяснил. Разведка показалась ему благоприятной и он решил перевезти семью на север.

Вскоре после того я уехал за-границу.

Здесь в Париже я получил от него несколько писем в 1922 и 1923 году. Он писал мне, что жизнь с семьей в Петербурге слишком трудна и он хотел бы выехать в Литву, где у него было небольшое имение, в Ковенской губ. Но повидимому это ему не удалось, — больше известий от него я не получал.

А. И. ИВАНОВ И В. Ф. СУФЩИНСКИЙ

Во время моих частых выступлений на суде я завел знакомство с присяжным поверенным Александром Ильичем Ивановым. В сословии Иванов пользовался отличной репутацией. Хотя он был еще сравнительно молодым, однако имел уже крупную практику и вел дела Государственного Банка. Собственно поверенным и юрисконсультом Государственного Банка был старый присяжный поверенный Василий Филиппович Суфщинский, но тот никогда в суде не выступал, а все судебные дела передавал своему сотруднику Иванову.

Иванов возымел почему то ко мне особую симпатию и доверие и предложил мне работать у Суфщинского совместно с ним. Предложение это я принял с благодарностью, хотя и был уже достаточно обременен работой у двух патронов.

Старик Суфщинский был одним из немногих присяжных поверенных, которые вступили в сословие тотчас по введении Судебных Уставов и дожили до нашего времени. Еще несколько таких же «старых могикан», живых свидетелей «эпохи великих реформ», состояло в петербургском сословии, когда я вступил в его ряды. Я уже упоминал о Д. В. Стасове, который умер только осенью 1917 года, с приходом большевиков.

Аннибал был помощником у такого же почтенного старца — Б. Б. Дорна. Исаченко состоял одно время помощником у А. Н. Турчанинова.

Всеобщим уважением и любовью пользовался также В. О. Люстих, бывший первым помощником, вступившим в сословие.

И мне, конечно, было лестно и приятно поработать у одного из патриархов сословия и близко познакомиться с ним.

Но мой «патриарх» был еще довольно живой и благообразный старичок, небольшого роста, с аккуратным прямым пробором на седой голове, придававшим ему несколько старомодный вид. Большая квартира его на Ивановской улице совсем не походила на адвокатскую квартиру; да там никогда никаких клиентов в мое время и не бывало, а вид она сохраиила такой же, какой имела, вероятно, сорок лет тому назад. Старик Суфщиниский, вдовец, жил в ней с двумя взрослыми сыновьями, из коих один служил в юрискоисульстве Министерства Финансов, а другой был горбатый, больной. Василий Филиппович в ту пору, когда я работал у него, занимался только писаиием заключеиий по делам Государственного Банка. Он считался отличным юристом и авторитет его в Банке стоял очень высоко. Внешне ничего адвокатского в нем не было. Он говорил тихим голосом, как будто конфузясь, даже если он обращался ко мне с просьбой навести справку в суде. Но с такими просьбами обращался он чрезвычайно редко, при чем всегда сопровождал их оговорками: «Если вы будете в суде», или — «если у вас будет время», и т. д.

В мою работу он абсолютно не вмешивался, — все указания я получал от А. И. Иванова. Да я и сам знал, что мне делать. Работа оказалась шаблонная и скучнейшая, — все взысканя по протестованным векселям с должников Государственного Банка или конкурсы по делам несостоятельных должников.

Тяжелое это было для меня время. Утренние часы я работал у Исаченко. В течение дня выступал в судах и носился по разным присутственным местам, собирая справки и документы. В конце делового дня заезжал к Исаеву, а к Суфщинскому являлся уже вечером, после обеда, и занимался у него до 11 — 12 часов ночи, под конец почти засыпая над делами.

В углу комнаты, где я работал, стоял удобный, большой диван, на котором старик Суфщинский обыкновенно просиживал вечера, просматривая книжные новинки. В камине пылал огонь

и атмосфера была уютная. Милый, любезный старик разговаривал со мной о разных судебных новостях или по поводу читаемой книги. Если книга чем нибудь особенно не нравилась ему, он высказывал мне свое возмущение ею и тут же бросал ее в горящий камин. Ко мне он относился всегда прекрасно, пока, из за одного инцидента, между нами не наступило некоторое охлаждение. Одно время в Петербурге нашумело уголовное дело ловкой авантюристки Ольги Штейн. Защищали ее прис. пов. Аронсон, член Госуд. Думы Пергамент и весьма популярный адвокат и Член Совета Л. А. Базунов. По окончании дела Штейн прокуратура возбудила против защитников ее, и в числе их против Базунова, обвинение в том, что они предупредили Штейн о вероятности обвинительного приговора и помогли ей бежать. Член Госуд. Думы Пергамент под влиянием этого обвинения покончил с собой. Дело Аронсона и Базунова слушалось в суде с присяжными заседателями и кончилось полным оправданием Базунова, при чем публика с триумфом вынесла его на руках из зала суда.

В. Ф. Суфщинский, следя по газетам за ходом этого процесса, находил, что, хотя действия Базунова и ненаказуемы, с точки зрения уголовного закона, однако неправильны, с точки зрения адвокатской этики, и что Совет Прис. Поверенных должен был разъяснить ему эти неправильности.

Надо заметить, что Вас. Фил. придерживался очень строгих взглядов на адвокатскую этику.

Сидя за своим рабочим столом, составляя исковые прошения и слушая в то же время рассуждения Суфщинского, я всегда поддакивал ему, больше из почтительности, чем из действительного согласия с ним; да я и не мог в тот момент особенно вникать в сущность обсуждаемых им вопросов. Так было и на этот раз — с делом Базунова.

Но, на беду мою, тотчас вслед за окончанием этого дела состоялось отчетное годовое собрание помощников присяжных поверенных, на каковом собрании мне пришлось председательствовать. Собрание это приняло резолюцию, в которой, во-первых, высказало протест против судебного преследования Базунова и, во-вторых, выразило ему свои симпатии и сочувствие.

Резолюция эта попала в газеты, подписанная именем председателя собрания, то есть моим.

Когда на другой день я явился к Суфщинскому, тот только сухо спросил меня, я ли это председательствовал на собрании помощников и правильно ли приведен в газетах текст принятой резолюции.

После того несколько дней он со мной не разговаривал. Но малу по малу инцидент этот был забыт и мы расстались впоследствии с ним в самым лучших отношениях.

В. Ф. Суфщинский умер вскоре после прихода к власти большевиков. По словам прис. пов. Трахтерева, он последнее время своей жизни голодал.

ОКОНЧАНИЕ СТАЖА И ВЫХОД В ПРИСЯЖНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ

В конце моего стажа, — в 1910 или 1911 году, — я выбран был в число членов Комиссии Помощников Присяжных Поверенных. Комиссия управляла делами нашей коллегии, а также имела право судить собственных товарищей за некоторые маловажные нарушения адвокатской этики. За более важные проступки нас судил Совет Прис. Поверенных.

В 1912 году я окончил свой стаж, прочел и защитил в Конференции три доклада по юридическим вопросам, как это у нас полагалось, и был принят в Присяжные Поверенные. В связи с этим событием моей жизни вспоминается мне один забавный эпизод, характерный для нашего сословного быта.

В Петербургском Совете Прис. Пов. много лет служил секретарем милейший и всеми любимый Сергей Тимофеевич Иванов, которого хорошо помнит всякий петербургский адвокат. Сергей Тимофеевич был ходячим справочником по всем делам сословия, — знал он все решения Совета за много лет, знал он каждого присяжного поверенного, даже каждого помощника, в лицо и по имени и отчеству, и этим немало поражал всякого из нас, когда нам приходилось обращаться к нему. При этом С. Т. был скромный, застенчивый и необычайно ко всем любезный человек. Каждому хотелось как нибудь отблагодарить

его за любезность и, таким образом, установился обычай при выходе в присяжные поверенные делать Сергею Тимофеевичу подарок.

Прием в присяжные поверенные происходил обыкновенно в Судебной Палате по группам и группа новоиспеченных адвокатов тотчас после церемонии приема отправлялась к Сергею Тим—чу и подносила ему подарок, приобретенный сообща. Когда я выходил в присяжные поверенные, наша группа приобрела для него чайный сервиз и после обряда принятия мы все отправились подносить подарок. При этом коллеги просили меня, как бывшего члена Комиссии, сказать несколько приветственных слов.

Вот мы, в самом лучшем настроении, вошли в зал заседаний Совета и нашли там Сергея Т—ча одного, сидевшего за столом, за своими делами.

Вначале все шло благополучно; поздоровались мы с С. Т., он нас поздравил, я взял в руки подарок и начал свое приветственное слово, как вдруг Сергей Тим. густо покраснел, замахал на нас руками и растерянно забормотал: «Ах, господа! Да зачем вы! Да что же вы наделали! Ах ты, Господи!» Словом, мы увидели вдруг перед собой человека в отчаяньи, чуть не в слезах. Я ничего не мог понять и растерялся сам, так что слова застряли у меня в горле, речь свою я оборвал, поспешил обнять взволнованного Сергея Тим—ча и вручить ему подарок, который он упорно отпихивал от себя. После чего мы все, крайне сконфуженные, повернулись, чтобы уходить... И тут загадка разъяснилась. Оказалось, что в тот момент, когда я начал свое приветствие, в комнату вошла, позади нас, служащая Совета, Варвара Яковлевна, которая необычайно ревниво относилась к популярности Сергея Тим—ча среди нас, отчего он так и растерялся.

*

* *

Вступая в адвокатское сословие, я мечтал о роли уголовного защитника, особенно по делам политическим. Я не понимал тогда, что для этого требуются особые качества, которых у меня не было. В университете я мало занимался гражданским правом

и никак не думал, что стану адвокатом- цивилистом. А вот именно таким то я и сделался.

Для ведения гражданских дел также требуются особые способности. Из нагромождения фактов и документов выделить самое существенное, найти подходящую юридическую квалификацию, придать делу правильную юридическую архитектонику или, как у нас называлось, правильно «поставить» дело, — этого рода юридическим чутьем обладали далеко не все адвокаты. А между тем ошибка в этом отношении всегда оказывается роковой для исхода процесса. Потому петербургские адвокаты довольно отчетливо делились по специальностям и крайне редко случалось, чтобы один и тот же адвокат обладал одновременно качествами хорошего цивилиста, и хорошего уголовного защитника. Точно также характер речей по гражданским делам был совсем иным, чем по уголовным. Гражданские суды были завалены работой, — иногда слушание дел затягивалось до полуночи. И по одной этой причине многословие, ораторские эффекты, фразы общего характера являлись недопустимыми. Председатель, в случае, если адвокат, для удовольствия присутствовавшего в зале клиента, пускался в излишнее многословие, останавливал его, и иногда довольно резко. Ведь у нас суд, не в пример Франции, адвокатов держал в строгости. Исключения допускались иногда для таких знаменитостей, как Карабчевский, который, впрочем, редко выступал в гражданском суде. Я помню подобный случай и помню, какое нетерпение написано было на лицах судей и как язвительно переглядывались между собой коллеги-цивилисты, слушая красивую декламацию Карабчевского.

Достоинство речи в гражданском суде заключалось, прежде всего, в ее сжатости, а затем в ясности и богатстве юридической аргументации. Она обращалась исключительно к разуму, к логике, и состояла только из юридических доводов и ссылок на законы, судебную практику и науку.

Между тем речь в уголовном суде редко и в небольшой дозе состояла из аргументов юридического характера. Уголовный оратор пытался повлиять, главным образом, на чувство судей и ссылался на доводы общего, житейского свойства. А так как до-

воды этого рода повторялись постоянно, то надо было их преподнести всякий раз по-новому, в новой оправе, для чего и требовался специальный ораторский талант. (В. А. Маклаков утверждал, что его можно развить у себя).

Наконец, и психологическая атмосфера в уголовном и гражданском суде совершенно различная. Ответственность за участь подсудимого огромна, — нередко дело идет о судьбе целой жизни. Если принимать все это близко к сердцу, надолго ли хватит сил и здоровья! Я, например, когда мне приходилось выступать по уголовным делам, очень волновался и болел душой за подсудимого. По одной этой причине я старался не брать этих дел.

В гражданском суде я не чувствовал такой ответственности: ну откажут моему доверителю в нескольких стах или тысячах рублей. Во-первых, я могу перенести дело во вторую инстанцию, тогда как в уголовном суде (с присяжными) приговор был окончательным. (Кроме редких случаев кассации). Во-вторых, в гражданском суде я был уверен, что сделал все возможное для ограждения интересов своего клиента; да и судьи тоже изучили дело и должны будут написать подробно мотивированное решение, основанное на законах и фактах дела. А в уголовном суде решение выносилось немотивированное, — по совести и по чувству.

У моих патронов я работал только по гражданским делам и так вошел во вкус вопросов гражданского права, что потерял всякий интерес к ведению уголовных дел.

Но все же мне приходилось иной раз выступать и по уголовным делам. На моем столе стоял письменный прибор из зеленого уральского камня с серебряной чернильницей, — подарок одного студента, которого я защищал по обвинению в растрате вверенного имущества. Это дело тоже стоило мне больших волнений. И обвиняемый, и его милая, молодая жена заявили мне, что в случае обвинительного приговора они покончат с собой.

Извольте защищать после такого предупреждения! Вдобавок студент этот производил неприятное впечатление и на суде вел себя преглупо. Его все же оправдали и он преподнес мне

вместо гонорара, который я отказался взять, вот эту самую чернильницу, которая видом своим постоянно напоминала мне, что я должен всячески избегать уголовных дел.

А. Я. ПАССОВЕР

Одним из событий адвокатской жизни моего времени был протест, вынесенный собранием адвокатов против способов ведения пресловутого дела Бейлиса. Участников этого собрания судила Судебная Палата в дисциплинарном порядке и приговорила каждого к запрещению практики на полгода. В числе других этому наказанию подвергся и Исаченко. По правде сказать, никто из нас от этого запрещения практики материально не пострадал, так как коллеги наперерыв предлагали свои услуги для выступлений в судах по нашим делам и, конечно, совершенно безвозмездно.

По истечении полугодичного срока Исаченко совместно с Новиковым устроил в своей квартире обед, на который приглашены были все коллеги, выступавшие за них во время запрещения им практики*). Я тоже участвовал на этом обеде и особенно запомнил его потому, что здесь мне пришлось встретиться в интимной обстановке, за товарищеской трапезой, с самим Александром Яковлевичем Пассовером. Обед был, конечно, на славу, — Исаченко умел принять гостей, но главное, что привлекало всех на этот обед, было участие в нем Пассовера. Его окружала атмосфера всеобщего преклонения. Маленький, худенький старичок, с глубокими магнетическими глазами, служил центром внимания. Все остальные участники обеда либо прямо обращались к нему с вопросами, либо затевали между собой споры, с тайным намерением вовлечь в этот спор Пассовера и услышать его мнение. И Пассовер каждый мелкий вопрос как то умел поднять на высоту общего, принципиального, и к решению его подходил, со своей огромной эрудицией, больше, как ученый и философ, чем как адвокат или политический деятель.

---

*) Новикову практика временно была запрещена по другому поводу.

Его участие в обеде объяснялось тем, что он заменил Новикова в Сенате по одному крупному делу (Митусовых). По этому делу он добился изменения проекта решения и выиграл его, имея противником Винавера.

Я нередко посещал конференции помощников, происходившие под руководством Пассовера. Поражала его необыкновенная осведомленность во всех вопросах, его замечательная память. Он никогда ничего не записывал, не заглядывал ни в какие бумажки, лишь изредка требовал себе подлинный текст закона и тут иногда поражал своим искусством толкования. Помню, как известный адвокат Демьянов прочел доклад о деле, которое он вел много лет в разных инстанциях, до Сената включительно. Пассовер потребовал текст закона, огласил спорные статьи и дал блестящее заключение по возбужденному докладчиком вопросу. Он сделал выводы из статей закона, которые никому до него не приходили в голову, — ни Демьянову, ни судьям, решавшим это дело. И никто не мог ничего возразить против его толкования закона, — до того оно казалось ясным и бесспорным.

Другой раз, по поводу доклада на тему из области государственного права, Пассовер, в своем заключительном слове, говорил о парламентаризме, об избирательных системах. Говорил он, конечно, с чисто научной точки зрения, ссылался на европейские авторитеты, и речь его, касавшаяся злободневных в то время политических проблем, поразила нас своим спокойным и скептическим отношением к предмету.

Мы слепо верили в «хетыреххвостку» и нам казалось тогда, что он судит по-стариковски, что он отстал от жизни, а между тем он рассуждал, как человек хорошо знавший европейскую жизнь и теневые стороны парламентского режима.

В. Н. НОВИКОВ

Пассовер обратил особое внимание на Вячеслава Николаевича Новикова во время своих конференций. В самом деле Новиков выделялся из среды адвокатов не только своей густой бородой (коллеги говорили, что она растет у него даже из глаз),

но и своей работоспособностью и научной подготовкой. Он часто читал доклады или выступал оппонентом по докладам других с солидными, обоснованными возражениями. По окончании университета он был оставлен при кафедре римского и гражданского права и получил командировку на казенный счет за-границу для усовершенствования в науках. В Берлине, по собственному его рассказу, он до того был поражен ученостью немецких профессоров, что счел себя недостойным носить ученое звание и, отказавшись от стипендии, пошел в адвокатуру. Естественно, что среди адвокатов он выделялся своей способностью к теоретическим занятиям и это его качество и привлекло к нему внимание Пассовера. Пассовер завел с ним даже личное знакомство, а это было честью, которой удостаивались лишь немногие. Но это было не только простой почестью, а и накладывало известные обязанности. Со своими коллегами — друзьями Пассовер вел разговоры исключительно научного характера. Каждую неделю, когда Новиков приходил к нему, Пассовер спрашивал, что он прочел новенького за последнее время и беседа шла по предмету прочитанного.

Новиков был провинциалом по происхождению (уфимец). Насколько мне известно, никакая «тетушка» в столице ему не ворожила и потому делать адвокатскую карьеру ему приходилось в довольно тяжелых условиях. Свою репутацию «большого адвоката» он завоевал упорным трудом, он ею обязан был исключительно самому себе.

Несмотря на его материальные успехи и высокую репутацию в адвокатском сословии, адвокатская деятельность не вполне удовлетворяла его. Получив довольно крупный гонорар по одному делу, он, несмотря на свой молодой возраст, решил выйти из адвокатуры и заняться общественной деятельностью. Так сделался он Товарищем Городского Головы в Петербурге, а потом, во время войны, Помощником Главноуполномоченного на Северном фронте.

При Временном Правительстве он был назначен Товарищем Обер-Прокурора в Гражданском Кассационном Департаменте Правит. Сената.

Добровольный отказ Новикова от научной карьеры и выход

его из адвокатуры в тот момент, когда она сулила ему блестящие материальные возможности, рисуют его человеком далеко незаурядным. Эти два поступка показывают наличие у него сильной воли и высоких моральных требований к самому себе.

Я вышел в присяжные поверенные в 1912 году. Через два года после того случилась в России первая катастрофа — война. Прошло еще три года, наступил год 1917-ый и последовала новая, еще большая катастрофа — революция. Законы, суды, адвокатура, — все было упразднено.

В течение этих пяти лет (1912 — 1917) я, в свою очередь сделался «патроном», — у меня работало несколько помощников и даже записалась одна помощница, — Воеводская, что было первым случаем поступления женщины в русское адвокатское сословие.

Н. Н. КРЕСТИНСКИЙ

Хочу помянуть еще здесь о моем товарище по университету и по адвокатуре — Николае Николаевиче Крестинском. В университете спорили по вопросам марксизма и подсказывали друг другу на экзаменах. В адвокатуре заменяли друг друга в выступлениях на суде, когда было нужно. Вместе заседали и в Комиссии Помощников. Особыми талантами и способностями он в адвокатской среде не выделялся и, в частности, оратором был неважным. Вел исключительно гражданские дела и, по преимуществу, дела увечных рабочих. Человек он был скромный и деликатный, среди коллег пользовался хорошей репутацией. Словом, ничто в те времена не предвещало его будущей большевистской карьеры. Мы были с ним добрыми приятелями, но семьями знакомства не водили, друг у друга не бывали.

В начале войны, в 1914 г., он был арестован за причастность к распространению прокламаций против войны. Совет Прис. Поверенных назначил меня «хранителем» его дел: я должен был продолжать ведение порученных ему клиентами судебных дел и

для совещаний по этим делам имел право посещать его в тюремном заключении. Он содержался в Спасской полицейской части, где я и посетил его несколько раз.

Затем он был выслан в Екатеринбург. Я продолжал вести его дела до их окончания и поддерживал с ним деловую переписку вплоть до революции 1917 года. После большевистского переворота он приехал в Петербург и сделался комиссаром юстиции (впоследствии он был Берлинским послом). Но открыто выступив в лагере большевиков, он имел достаточно ума и такта, чтобы не пытаться возобновить знакомство со мной. Таким образом с 1914 года мы с ним больше не виделись. Однако в 1918 году, когда я был арестован «чрезвычайкой», во время жестокого террора после убийства Урицкого, мои друзья обратились к нему за помощью и он сделал все возможное, чтобы освободить меня из цепких лап «Уриции», как он сам выразился.

Впоследствии же, в 1938 году, он сам погиб от рук такой же «Уриции», будучи расстрелян после «процесса 21-го».

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ДРУЗЬЯ. СЕМЕЙНАЯ И СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ДРУЗЬЯ

«Друзья — дело наживное», — сказал когда то мне мой московский патрон Биск. Я обиделся тогда и за себя, и за друзей своих. Я и теперь нахожу, что Биск был неправ. «Нажить» настоящих друзей нелегко, а на склоне лет и того труднее. Впрочем, я не могу пожаловаться: у меня всегда были друзья, которые меня искренне любили и ценили и мне приятно вспомнить и рассказать здесь о некоторых из них.

К. А. ГОРБУНОВ

О Горбунове я писал в моих студенческих воспоминаниях.

Он не кончил университета по причинам политического характера и поступил чиновником в Государственный Контроль. Служба ли чиновничья на него так подействовала, или же с возрастом проявилась его подлинная сущность, но мало по малу он потерял свою яркость, — и стихи писать перестал, и литературные знакомства забыл, — а сделался исправным служакой, и больше всего полюбил свой домашний уют. У него вдруг выявился хороший эстетический вкус и первым удовольствием его стало — бродить по Александровскому рынку, отыскивать старинные вещи, скупать их там за бесценок, потом тщательно реставрировать и украшать ими свое жилище. И, действительно, у него в квартире было очень уютно, — стояла красивая мебель красного дерева, на стенах висели старинные гравюры, на столах разбросаны были изящные безделушки, тихо и мелодично позванивали прадедовские часы. И сам Костя Горбунов, довольный всем этим окружением, всегда мягкий, любезный, очень радушно принимал у себя нас, своих друзей. Таким он сохранился в моем воспоминании.

А. И. БЕРДНИКОВ

Через Горбунова и познакомился с Роммом и Бердниковым, а тот, в свою очередь, завел с ними знакомство на вечерах у поэтессы и женщины- врача Боголюбовой. Почвой для знакомства было искусство: музыка, пение, поэзия. Ведь ни один «журфикс» того времени, — а мы все поочереди устраивали их у себя, — не обходился без музыки и пения. Ромм блестяще импровизировал на рояле и отлично аккомпанировал. Он дружил тогда с Бердниковым и всюду расхваливал его музыкальность и голос. Они ходили вместе по знакомым и задавали концерты.

Бердников был молод и интересен во всех отношениях: и внешностью своей, и пением, и репутацией молодого ученого. Несмотря на это его сердечные дела шли плохо. Я два раза разводил его. Первой жены его я не видел, — он женился на ней в своем родном городе Казани еще до переселения в Петербург. Вторая жена его была молодая, интересная и весьма избалованная женщина. Она увлеклась профессором на курорте в Харьковской губ., где они встретились и познакомились летом. К сожалению, она быстро охладела к нему.

Мой друг Бердников, несмотря на свою любовь к музыке, вернее — к пению, всегда был некиим «примитивом» в психологическом отношении. Этим, может быть, и объясняется, что успех его у женщин был быстрый, но неглубокий.

Кроме того у него был недостаток, который тоже не мог нравиться женщинам: он был довольно неряшлив. И его молодая супруга, после тщетных попыток исправить его в этом отношении, отвела ему для его занятий... угол на кухне.

Помню, как они жили в маленькой квартирке на Невском, во дворе дома Армянской церкви. Она была веселой, живой, общительной.

Она увлекалась танцами и недурно исполняла характерные. Одно время ее выступления также украшали программу наших журфиксов. К сожалению, она сделалась вскоре постоянной посетительницей ночного кабака — «Бродячая собака», где собиралась литературная богема. Эта среда имела на нее дурное влияние. Там она часто выступала в своих танцах.

Разочаровавшись в своем супруге, она начала изменять ему довольно открыто. Из любви к ней он долго переносил разные унижения, но, наконец, не выдержал и они разошлись. С тех пор он не женился. И к большой чести профессора надо сказать, что всегда в тяжелую минуту, когда другие ее забывали, когда она оказывалась покинутой и несчастной, он готов был прийти к ней на помощь.

В России Бердников считался талантливым ученым. Он мог сделать прекрасную карьеру. Одно время он заведывал чумным фортом в Кронштадте. Потом работал в Институте Экспериментальной Медицины и был приват-доцентом в Женском Медицинском Институте. Во время войны он сделался правой рукой заведующего Санитарной Частью принца А. П. Ольденбургского, который его очень ценил.

При большевиках он стал директором Бактериологического Института в Саратове. Оттуда он бежал сначала на Кавказ, а затем уехал на пароходе из Батума в Грецию, где чуть не умер от сыпного тифа.

После того он жил некоторое время в Загребе, а затем переселился в Париж. Здесь он работал сначала в Институте Пастера, а потом в лаборатории при Парижском Медицинском Факультете под началом профессора Шампи. Недовольный тем, чте ему давали мало самостоятельности в его научной работе, он, в 1937 году, покинул Францию и направился в Харбин, который был в то время русским городом. Но по дороге он застрял в Шанхае, где и окончил дни свои во время великой войны.

Бердников поражал всех, знавших его, силой своей воли. С чисто бурсацкой упрямостью и с профессорской систематичностью он всегда добивался в жизни, чего хотел, каких бы материальных лишений это ему ни стоило.

Это был человек цельный, прямой до резкости и подчинявший жизнь свою определенным правилам, от которых он никогда не отступал.

Он лишен был гамлетизма, сантиментализма и прочих качеств, свойственных «мягкотелой интеллигенции», как он пре-

зрительно ее называл. Никакие «проклятые вопросы» его не волновали, — на все эти вопросы он находил ответ в.... биологии и этими ответами удовлетворялся.

Всю свою жизнь он делал только то, что его интересовало. При этом он никогда не шел на нравственные компромиссы и своей судьбой никому не был обязан, кроме самого себя. Материальные же блага жизни он всегда открыто презирал и без них отлично обходился. В Париже он жил на гроши, при чем в его жизни и привычках было много чудачеств.

Он весьма тяготел ко мне душой, хотя может быть и чувствовал, что мы с ним очень разные, а я не мог не отозваться на его крепкое и постоянное дружеское чувство.

Я. М. РОММ

Яков Максимович всегда был фантазером, неприспособленным к жизни человеком и, в то же время, очень добрым и великодушным. Ему, конечно, надлежало стать артистом, музыкантом, но это дело трудное, — чего то ему недоставало для этого, несмотря на его большой музыкальный талант.

Мы встречались часто, много музицировали вместе, много пережили хороших минут высокого духовного наслаждения от музыки. Мы все, наша компания в Петербурге, были людьми семейными, женатыми; он всегда оставался холостяком, одиноким. Но все его любили и друзей у него было много.

Работал он в то время в издательстве «Общественная Польза». Тут произошла с ним характерная для него история. Прокуратура возбудила обвинение против «Общественной Пользы» за одну изданную ими книгу. Ответственности подлежали директора издательства и, в их числе, А. И. Браудо, родственник Ромма, которого Яков Максимович очень любил и уважал. А так как Браудо был человек семейный, то Як. Макс. предложил взять на себя вместо Браудо ответственность за издание инкриминируемой книги; хотя он сам был тут не при чем. Его судила Судебная Палата и присудила к трем месяцам тюремного заключения, которые он и отбыл в знаменитой тюрьме «Кресты», на Выборгской стороне. Режим в тюрьме был сравнитель-

но либеральный в то, до-большевистское время, — мы все, его друзья, исправно навещали его, в книгах, в еде и в чем либо другом у него недостатка не было. Он говорил впоследствии, что отлично отдохнул тогда в тюрьме за эти три месяца, но этого, конечно, нельзя было принимать в серьез.

Сильно удивил нас Ромм, когда наступила война. Не в пример многим другим, он оказался ярым патриотом и хотел добровольно идти на войну. В молодые годы он отбывал воинскую повинность в драгунском полку и желал теперь зачислиться непременно в тот же, «свой» полк. Он ходил куда то хлопотать об этом, но везде ему отказали в виду его возраста (ему было около 50 лет). Тогда он поступил в «земгусары», отправился контролером на северный фронт. Он имел довольно бравый вид в военной шинели и серой барашковой шапке. В Пскове, где была у них штаб-квартира, он встретился с Новиковым, который оказался его начальником. По служебным делам они постоянно ссорились, но по вечерам Новиков приходил к Ромму, тот играл ему на рояле симфонии Чайковского, а Новиков слушал его и умилялся.

Военная карьера Ромма закончилась довольно неожиданно: он женился. Женился в Пскове, на молодой особе, и женился, конечно, особенным образом, — не как все люди. История сложная. Он ее от чего то и от кого то «спасал», — не то от деспотического отца, не то от грубого мужа. Ей не было 20-ти лет, происходила она из духовной семьи, — дочь священника, — и была больна туберкулезом. Самая для него подходящая супруга.

Он впутался в ее личную драму и так основательно впутался, что, в конце концов, и женился.

Мне удалось только один раз видеть его в роли супруга. Они проезжали через Петербург из Пскова, направляясь — он в Москву, а она в кумысолечебное заведение, в Уфимскую губернию. Остановились они в пустовавшей тогда квартире его сестры, на Пушкинской улице, и пригласили меня туда к завтраку.

Она производила впечатление еще моложе своих лет, — гимназистка старших классов на вид; лицо незначительное, а по характеру, видно, избалованное, изнеженное дитя. Он так с ней и обращался. Рассказал мне при ней, что его приняли где то по дороге за ее отца, что было вполне правдоподобно. Она, развалясь, сидела в кресле у окна и, конфузясь, вела со мной нескладный разговор; а он — хлопотал по хозяйтсву. Ни до, ни после я никогда не видал его в этой роли. Хотя он был еще во френче, но бравого военного уже не напоминал, вид его был скорее сконфуженный. Об ней он нежно, даже слишком нежно, заботился и как то заискивал, заглядывал в глаза. Я подумал, что из него выйдет, вероятно, несносный, надоедливый муж.

Он сам жарил рыбу, накрыл на стол и угощал нас. Должно быть, научился немножко хозяйничать на фронте. Она принимала все его заботы, как должное, но на его нежности реагировала слабо. Я никак не мог воспринять, что они — муж и жена, никак не мог сочетать между собой этих двух столь различных людей.

И действительно, это сочетание было весьма непрочным, — их брак длился всего несколько месяцев. Я не расспрашивал его впоследствии, но от кого то слышал, что она с кумыса так к нему и не вернулась, — нашла себе там другого более подходящего ей и по возрасту, и по характеру мужа.

Он после того жил несколько лет в Москве и мы потеряли его из виду, пока не встретились вновь, в 1921 году, в Париже.

Ромм происходил из Вильны, — его отец был там издателем еврейских священных книг, вел свое дело совсем не по коммерчески и в результате прогорел. Семью оставил очень большую, дружную, но все вышли в отца, такие же непрактичные, денег наживать не умели. А между тем люди все незаурядные. Самый странный и непрактичный из них — мой друг Яков Максимыч. Страшный непоседа, нигде никогда долго не уживался, на каждой службе им быстро овладевало «беспокойство, охота к перемене мест».

Окончил он будто бы юридический факультет, но профессию почему то избрал бухгалтерскую, — ею зарабатывал хлеб. Жи-

ла же в нем душа художника, музыканта, но не профессионала, а любителя, диллетанта. Нередко развивал идею, что искусством нельзя зарабатывать деньги, — не следует. И другую идею, что человек с разнообразными умственными интересами не может себя всецело посвятить искусству.

Многое в жизни он тонко чувствовал и понимал. Очень добрый и очень неглупый, он был вместе с тем крайне неуживчив и неуравновешен. Его честная гуманная натура постоянно возмущалась против всякой несправедливости и своекорыстия и он вечно обличал кого нибудь со свойственной ему страстностью. Странно и то, что он, такой поклонник семейного начала, никогда не женился (я рассказал здесь один эпизод, но женитьбой его серьезно назвать нельзя). Тогда совсем иначе сложилась бы его жизнь. А он прожил ее одиноко, неуютно, без своего угла, до самой смерти скитаясь по плохим отелям. Он умер в Марселе, в 1942 году, во время войны, когда Франция была оккупирована немцами.

К. А. МЕЛЬНИЦКИЙ

Молодые годы моего приятеля Константина Алексеевича Мельницкого были довольно бурными. Встретились мы с ним еще в университете, — я обратил внимание на высокого господина с седой шевелюрой, но с молодым лицом и с молодыми глазами. Через некоторое время мы познакомились у Гердов и я узнал от них, что этот самый господин член партии социалистов-революционеров, что его судили по громкому политическому делу и приговорили к году заключения в крепости. В крепости он и поседел, хотя и был еще молодым человеком.

Мало по малу мы с ним сошлись ближе и подружились. Дружба эта продолжалась много лет и я мог наблюдать, как постепенно, под влиянием разных обстоятельств, Мельницкий все больше отходил от увлечений своей молодости и становился «буржуем».

Началось это после революции 1905 года. Учреждение Государственной Думы произвело на него умеряющее впечатление, как и на многие другие горячие головы. Я не знаю, оставался

ли Мельницкий в партии после перемен, происшедших в русском государственном строе. Но я видел его упорную борьбу за существование, видел, как постепенно складывалась в нем честолюбивая, эгоистическая мечта — «выйти в люди», стать богатым, независимым человеком и попользоваться, наконец, благами жизни, которых он лишен был в юности.

Он был человеком очень талантливым и преуспевал во всех тех областях, куда он устремлял свою энергию. Я ничего не знаю о его детстве, но судя по его братьям и сестрам, они все вышли из мелко-чиновной или мещанской провинциальной среды. Мельницкий окончил средне-техническое училище. Он видимо сознавал недостаток своего образования и потому, в момент нашего с ним знакомства, поступил вольнослушателем в университет. Но серьезно заниматься в университете ему, повидимому, не пришлось. Зарабатывал он в то время частными уроками и, как учитель, завоевал себе хорошую репутацию.

Случаются в жизни такие парадоксы: он, член революционной партии, несколько лет подряд состоял учителем и воспитателем единственного сына графа А. А. Бобринского, — члена Государственного Совета, известного своими крайне-правыми убеждениями. И граф настолько ценил его, что впоследствии рекомендовал его княгине В.

Конечно, беганье по частным урокам, как бы хорошо они ни оплачивались, не могло удовлетворить Мельницкого: эта работа была без будущего. Скоро он устремился в другую область, — в журналистику. Ему удалось устроиться в «Торгово-Промышленную Газету», где он проработал несколько лет и так сумел освоиться с экономическими вопросами и с техникой журнальной работы, что сделался правой рукой редактора газеты Е. С. Каратыгина, видного чиновника Министерства Финансов. Он работал и в других изданиях и состоял даже постоянным сотрудником лучшей русской газеты того времени «Русских Ведомостей».

Однако, несмотря на такие успехи в области журналистики, он охотно принял предложение княгини В., — стать управляющим ее недвижимыми имуществами в Петербурге. Служба управляющего домами была, конечно, гораздо спокойней и давала

более обеспеченный заработок, чем работа журналиста. И вот с тех пор материальное положение Мельницкого стало постепенно улучшаться.

У княгини В. было несколько недвижимостей в Петербурге. Прекрасный особняк на Фонтанке занимала она сама. На Забалканском проспекте, возле Сенной, на месте знаменитой «Вяземской Лавры», стояли два больших доходных дома. Наконец, на Екатерининском канале, тоже недалеко от Сенной площади, был у нее небольшой, невзрачный каменный дом старинной постройки, со стенами необыкновенной толщины, с узким, неудобным входом. В этом доме поселился Мельницкий. Он соединил в нем две квартиры во втором этаже (всего было три этажа в этом доме) и, таким образом, занял для себя и своей семьи целый этаж. Получилась огромная, неуклюжая квартира, — комнат в двенадцать, которую он отделал по своему вкусу, и отделал очень комфортабельно, устроил в ней даже маленькую паровую баню для собственного удовольствия (а он любил попариться). В этой квартире он прожил много лет, вплоть до самой нашей разлуки, в 1921 году.

В ней он мог давать волю своим прихотям и фантазиям, а фантазий у него всегда было много. Он переделывал ее множество раз, то изменял расположение комнат, то разделял ее на части, а больше всего менял внутреннюю ее отделку. Квартира эта была его «коньком», а разные изменения и переделки в ней зависели то от его художественных увлечений, а то и от его семейных дел. А семейные его дела были необычайно сложными.

С первой женой он давно разошелся и жил с молодой женщиной, которую, ради своего увлечения оперой «Травиата», называл Виолеттой, хотя настоящее имя ее было Анфиса. При них жили двое его детей от первого брака, — подростки Оля и Шура.

Виолетта не была интересной, ни внутренне, ни внешне, но у нее был природный художественный вкус, а, главное, она была в то время еще совсем молодой, чего для Мельницкого, весьма легко воспламенявшегося от встреч с особами прекрасного пола, было вполне достаточно.

Года за два до войны они вдвоем съездили за-границу, по-

бывали в Италии (были, конечно, на приеме у Папы, — Мельницкий никогда бы не пропустил подобного случая) и так увлеклись там разными художественными красотами, что навезли с собой бесконечное количество фотографий, гипсовых фигурок и разных безделушек и украсили ими свою квартиру.

Несколько странно было, что из путешествия по Италии Мельницкий вывез особенное увлечение готикой. Готика поразила его воображение, вероятно, потому, что он никогда не видал образцов ее в Петербурге. Итак, он решил устроить в своей квартире «готическую комнату».

И, действительно, устроил нечто необыкновенное: воздвиг посреди комнаты балдахин, украшенный готической резьбой, повесил над этим балдахином лампаду, озарявшую всю комнату таинственным мерцаньем, и расставил там готические стулья и кресла. Сюда же он поместил свои художественные сокровища, то есть фотографии и муляжи, вывезенные из Италии. В эту комнату он вводил своих гостей, как в святая святых.

Затем начались его музыкальные увлечения, которые нередко связывались у него с любовными.

Во времена первых его жизненных успехов он увлекся одной неудачливой певицей и для ее удовольствия поставил на свои средства, на частной сцене Купеческого Клуба, оперу «Демон». Мне пришлось из дружеских побуждений присутствовать на этом спектакле. Предмет страсти Мельницкого, певица, изображавшая Тамару, была довольно полная и высокая особа, а Демона пел восточный человек маленького роста и необыкновенно юркий. Тамара стояла, как статуя, посреди сцены, а Демон суетливо бегал вокруг нее, — он приходился ей едва по плечо. Публика веселилась.

Вообще у Мельницкого был вкус pour les femmes fortes, к эдаким дородным матронам, которые однако в его фантазии принимали образ воздушных созданий. Увлекался он пылко, любил о своих увлечениях рассказывать и рассказывал подчас вещи совершенно фантастические. Приятель мой вообще был порядочный фантазер и неврастеник. Иногда с ним делались какие то загадочные припадки, во время коих он имел вид умирающего, лежал в кровати с осовелыми глазами, задыхался, жа-

ловался на боли в сердце и т. д. Всем этим он наводил панику на своих домашних и очень сердился на врачей, когда те не находили у него ничего серьезного и прописывали ему валериановые капли.

Случалось, что во время такой болезни звонила княгиня и требовала его по срочному делу. К ужасу и удивлению своих домочадцев, он вскакивал с постели, одевался и уезжал по делам до вечера. Потом, возвратясь, снова валился в постель.

Однажды припадок его был особенно сильным, никакие капли, ни лед, ни грелки, ничто не помогало. Бедная Виолетта ночей не спала у его изголовья, но он принимал ее услуги холодно. Он впал, наконец, в бессвязный бред и в бреду призывал какое-то неземное создание прийти к нему и спасти его. Наконец он назвал номер телефона, по которому просил позвонить. Позвонили по этому номеру, ответила дама с польской фамилией, которая быстро согласилась прийти.

К удивлению всех, вместо неземного создания появилась дородная женщина, не первой молодости и отнюдь не блещущая красотой. С ее появлением Мельницкий начал блаженно улыбаться и заявил, что ему гораздо лучше. Он не отпускал эту даму от себя несколько дней и, надо признаться, она довольно умело ухаживала за ним, как за больным.

Кажется, эта история переполнила чашу терпения бедной Виолетты и послужила поводом для окончательного разрыва между ними.

Но и с полькой роман продолжался недолго. Сначала она пыталась обращать его в католичество и он, на некоторое время, сделался очень набожным, повесил распятие в готической комнате и там молился рядом со своей дамой. Дама эта оказалась, однако, довольно практичной особой и скоро поняла, что с таким сумасбродным типом не стоит связывать свою судьбу. За этим последовал роман с опереточной дивой Ризой Нордштрем.

Риза Фердинандовна Нордштрем, — белокурая немка с довольно длинным носом, небольшого роста, но плотная, когда то известная опереточная певица, в момент романа с Мельницким была уже в периоде отцветания. Она не имела ангажемента и Мельницкий, чтобы напомнить о ней публике и прессе, устроил

спектакль, сняв для этого хороший театр «Пассаж». Поставлена была «Гейша», Нордштрем исполнила главную роль, но успеха не имела. Она стала тяжеловата для этой роли, а голос, хоть и сильный, звучал слишком резко и сухо.

Этот провал заставил ее окончательно отказаться от сцены, однако не расстроил ее романа с Мельницким. Они хорошо прожили вместе несколько лет. Она обладала многими достоинствами семейного характера: была хорошей хозяйкой и умела окружить Мельницкого домашними заботами, которыми он вовсе не был избалован, но в которых начинал нуждаться, так как его первая молодость была уже позади. Вместе с тем она была доброй женщиной и очень хорошо относилась к детям Мельницкого, заботилась о них, как родная мать.

Но так как она была очень немолода, а в духовном отношении никакого интереса не представляла, то и этот союз долго не продлился.

Когда пришла война, Мельницкого хоть и мобилизовали, как прапорщика запаса, но на фронт не послали, и он устроился в тылу, в Петербурге.

Однажды ночью мы возвращались с ним пешком из гостей и он стал развивать мне идею о том, что, мол, нечего сантиментальности разводить, а надо использовать теперешнюю конъюнктуру и заработать деньгу. Он любил ораторствовать и, со своим пылким темпераментом, так увлекался собственным красноречием, что иногда забывал и о собеседнике.

Так было и в этом случае: мы переходили Неву, он остановился на середине Троицкого моста и произнес целую речь, обращаясь то ко мне, то ко всему спящему Петербургу. Как все его речи, она была сумбурна, фантастична, полна неточностей и передержек, но произнесена с необычайным пафосом и искренним увлечением. В той же манере произносил он когда то зажигательные речи перед аудиторией рабочих или учащейся молодежи, — только содержание речи было теперь совсем иным.

«Вы видите, Сереженька, перед собой этот огромный город, — восклицал он, — с миллионным населением, с его дворцами,

роскошными магазинами, многочисленными фабриками. Какая здесь сложная экономическая жизнь! Какие миллионные обороты совершаются! Изо дня в день текут потоки золота. Так что же! Неужели у меня нет головы на плечах, чтобы войти в русло этого потока и зачерпнуть оттуда хоть маленькую горсточку? Много ли для одного человека нужно? Только одна маленькая горсть из этой многомиллионной лавины! Нет, Сереженька, я добьюсь! Я еще молод, я энергичен! Нужна воля к достижению и она у меня есть...»

Таково, приблизительно, резюме его длинной, взволнованной речи, которую он произносил на высоте Троицкого моста, размахивая руками над его парапетом, бросая слова в темноту ночи.

Действительно, воли и энергии было у него, хоть отбавляй, и человек он был неглупый и очень способный, а разбогатеть ему все-таки не удалось. Чего то ему для этого не доставало. Может быть, ему мешало, что он был слишком большой фантазер и не умел хладнокровно взвесить все выгоды и невыгоды тех дел, на которые пускался. Во всяком случае, он не сумел проникнуть в нужные ему деловые круги. Несмотря на свою проповедь беззастенчивого делечества, он оставался внутренне порядочным человеком и сохранял известную нравственную щепетильность; а настоящие дельцы чуяли в нем эту опасную черту и сторонились его: не дай Бог, в решительную минуту подведет. Да и слишком уж много философствовал он на эти темы.

Как бы то ни было, кое что заработать ему все-таки удалось и он мог дать некоторое удовлетворение своему честолюбию. Прежде всего завел себе маленького Форда, что в то время было немалой роскошью, автомобили имелись у очень немногих. Затем сделался постоянным посетителем оперного Мариинского театра.

То была эпоха увлечения Вагнером и Вагнер сделался его культом. Он приобрел кресла на все четыре абонемента «Кольца Нибелунгов» и так исправно посещал их, что знал почти все оперы «Кольца» наизусть и постоянно цитировал Вагнера.

Купив сееб хорошенькую дачу возле Сестрорецка, назвал ее «Валгалла». Захотел он прослыть меценатом, завел знакомства среди артистов Мариинского театра, принимал их у себя и они

ему исполняли отрывки из опер Вагнера. Больше всего ему хотелось залучить к себе Ершова, главного исполнителя в «Кольце», но это ему не удалось.

К этой же эпохе относится его роман с молодой, красивой артисткой П. Это было высшее достижение за всю его vie amoureuse.

Я знал об этом романе из дружеских излияний Константина, но, вопреки своему обыкновению, он близость эту от всех скрывал. Еще с давних пор, со времени первых измен Виолетте, он разделил свою квартиру на две половины: одна — семейная, а другая — холостая, и ключ от этой последней хранился только у него.

Казалось бы Костенька достиг в жизни апогея своих желаний. Он жил в то время в полное свое удовольствие. Но нет, — такова человеческая натура, — ему хотелось еще большего. Захотелось ему хоть ненадолго, хоть на один сезон стать оперным антрепренером, директором театра. Для этого он завязал дружбу с Кириковым, державшим в то время оперу в «Народном Доме», и надеялся войти в дело его компаньоном.

Но Кириков запросил слишком много денег, у Мельницкого столько не было, хоть он и старался делать вид богатого барина. Как раз в то время в «Народном Доме» гастролировал Шаляпин и Мельницкий стал добиваться от Кирикова, чтобы тот познакомил его с Шаляпиным.

Кириков расхвалил Шаляпину Мельницкого: такой, дескать, страстный любитель музыки и поклонник вашего таланта, — мечтает видеть вас у себя. Осчастливьте, Федор Иванович, — примет вас по-царски.

Но Шаляпин только посмеивался, а к Мельницкому ехать не собирался. Наконец, Кирикову пришла в голову идея. Он стал хвалить Мельницкого с другой стороны: такой, мол, искусник, что у себя в квартире баню устроил и парится там вволю. Тут Федор не устоял: как так? Баня у себя дома? Как же это он устроил? И Федор решил поехать к Мельницкому, чтобы посмотреть его баню.

Но здесь мой друг вломился в амбицию и не согласился: он хотел познакомиться с Шаляпиным на почве искусства, а не

из-за какой то бани! Он решил тогда, что Кириков плохо отрекомендовал его и стал просить, чтобы тот представил его лично Шаляпиину, а он уж сам с ним поговорит.

Сказано — сделано. Мельницкий приехал в театр во время представления «Русалки», в антракте Кириков ввел его в уборную Шаляпина и познакомил. Шаляпин сидел перед зеркалом и гримировался. Он кивнул в сторону Мельницкого и пробасил: «Очень приятно познакомиться. Да, да, — мне Кириков про вас говорил. У вас банька в квартире устроена. Как это так?» — Тут мой друг воспламенился и начал свою речь: что, мол, не по поводу баньки он сюда пришел, а потому что он ценит в Федоре Ивановиче великого артиста, а так как он, Мельницкий, сам в душе артист, то никто не может лучше, чем он, понять и оценить Шаляпина, — потому он так настойчиво и добивался этого знакомства. Он надеялся, что и самому Федору Ивановичу приятно будет встретить истинного ценителя своего таланта, истинно понимающую душу...

Шаляпин гримировался в это время и, слушая его, то одобрительно мычал, то бросал короткие реплики, вроде: «Благодарю вас, голубчик!» — или: «Это очень интересно», что еще более вдохновляло моего друга на продолжение его речи. Но финал разговора вышел совсем неожиданным и неудачным. Шаляпин вдруг откинулся на спинку кресла, сильно потянулся и издал громкий звук, издавать который почитается неприличным. После того он ухмыльнулся и сказал: «Извините, голубчик! Перед выходом на сцену необходимо облегчиться».

Мельницкий, бывший в полном разгаре своего красноречия, остановился с разинутым ртом. После нескольких секунд остолбенения он пришел в себя, сухо поклонился Шаляпину и, как ошпаренный, вылетел из его уборной. Он рассказывал потом мне эту сцену во всех подробностях и, кончив рассказ, с негодованием прибавил: «Великий артист, но какой хам! Подумайте, Сереженька, какой хам!»

Мало-по-малу, с возрастом, Костенька угомонился, меньше стало в нем этих необузданных метаний из стороны в сторону.

И все же он поразил нас, друзей своих, когда женился на совсем молодой девушке, подруге своей дочери, в то время как ему было уж далеко за сорок. Чем он мог пленить свою молодую супругу? Мне вспомнилось из «Полтавы»:

Его кудрявые седины,
Его глубокие морщины,
Его блестящий, впалый взор,
Его лукавый разговор....

Женился он на этот раз по-настоящему, но без особой страсти, — видно рассудил, что ему пора остепениться и что это, так сказать, его последний шанс. Жену он взял себе тихую, скромную. Через год у них родился сын.

Так кончилась la vie amoureuse моего друга.

С наступлением большевистской революции пострадал и он. Лишился, конечно, и дачи, и автомобиля, и разных удобств жизни. В момент одной из облав на бывших офицеров он был схвачен и брошен в вонючий подвал при комендатуре, где чуть не задохнулся. Выпущенный на свободу, он мало-по-малу устроился, приспособился.

Мне пришлось уехать из Петербурга, ни с кем не простившись. Не знаю, что сталось с ним. Но как-то, через несколько лет после моего отъезда, я получил от него письмо, в котором он просил меня выслать ему из Парижа одну книгу о Вагнере. Я порадовался за него: жив еще душой.

СЕМЕЙНАЯ И СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

В этот десятилетний петербургский период (1907 — 1917) наша семейная жизнь протекала вполне благополучно. Человеку свойственно хранить в памяти только горестные события и забывать о счастливых.

О народах сказано: Les peuples heureux n’ont pas d’histoire.

Очевидно, это относится и к счастливым семьям.

А горестных событий я за эту эпоху почти не помню. Впрочем бывали и такие и я о них скажу потом.

Во времена помощничества трудиться приходилось мне много. Мои коллеги, — молодые помощники присяжных поверенных, — удивлялись, как это я ухитряюсь работать одновременно у трех патронов, — это было своего рода рекордом. Но и развлекались мы немало.

Главным развлечением был театр. Синема в то время никакой роли в жизни не играл, — слишком был несовершенен. За то посещение театра являлось для нас, можно сказать, священной обязанностью. В театр шли тогда не столько для отдыха, сколько для поучения; во всяком случае, искали там глубоких впечатлений и много философствовали по поводу виденного и слышанного. Тогда вообще все воспринималось глубже, — и литературные, и эстетические впечатления. Стоит просмотреть газеты и журналы той эпохи, чтобы убедиться в этом.

Как это было не повидать тогда новой пьесы или новой постановки, новой режиссерской выдумки или вновь объявившегося таланта! А тут еще разные интересные гастроли: то Московский Художественный театр, то итальянская опера с такими несравненными певцами, как Мазини, Баттистини, Титта Руффо, Ансельми и др. Кроме того еще концерты приезжих знаменитостей или очередные циклы симфонических концертов Музыкального Общества, Зилоти, Кусевицкого и других.

Была у нас абонементная ложа в оперном Мариинском театре, — в этом уютном голубом театре, одном из лучших в мире. Сколько музыкальных и художественных наслаждений пережили мы в этой ложе, каких талантливых артистов перевидали! Слава их быстро проходит, теперешнему поколению ничего не говорят имена Собинова, Фигнера, Яковлева, Тартакова, Ершова, Давыдова, а как они все потрясали наши сердца. Собинов — Ленский, Фигнер — Дон Хозе или Канио, Яковлев — совершеннейший Онегин, Тартаков — Демон, Ершов — необычайный Зигфрид, Давыдов — Герман, — все эти большие артисты создали незабываемые образы. Я не упомянул Шаляпина, которого мы много раз видели на родной сцене во всех его лучших ролях, в период полного расцвета сил и голоса, в составе арти-

стов, которые были ему под стать, и в постановках, где не жалелось средств для полного осуществления намерений автора и для достижения полноты театральной иллюзии.

Едва ли где-нибудь в мире бывало исполнение опер, осуществленное с таким художественным совершенством, как у нас, где все было на необычайной высоте: и солисты, и оркестр, и режиссура, и декорации, и костюмы.

О балете говорить не приходится, — о том балете, где одновременно, в рядовых спектаклях выступали Кшесинская, Павлова, Преображенская, Карсавина, Трефилова, Петипа, Легат, Нижинский, Владимиров и много других звезд. А какие первоклассные артисты играли в это время в Александринском драматическом театре, об этом я говорил в моих студенческих воспоминаниях. Появлялись и театры с новыми тенденциями: «Музыкальная Драма» — Лапицкого, театр Коммиссаржевской, театр Блока, Старинный Испанский и др. Был и хороший французский (Императорский Михайловский), где отличные артисты, как Francen, Rejane и др., играли французские комедии.

Весной открывались выставки картин русских художников. Некоторые группы художников, как «Общество имени Куинджи» и «Общество весенних выставок», — устраивали у себя в помещении интимные вечера, на которых мы, одно время, были частыми посетителями. На этих вечерах художники писали картины на глазах у своих гостей, а затем были выступления артистов, которые приезжали туда по окончании спектаклей. Вечер заканчивался общим веселым ужином, во время которого экспромты и выступления артистов продолжались.

Словом, в старом Петербурге в развлечениях и, при том, в истинно художественных развлечениях недостатку не было.

Хорошо, торжественно праздновались большие праздники: Рождество, Пасха, масляница, — со всеми ими были связаны определенные традиции религиозного и бытового характера, которые соблюдались всеми. Атмосфера всеобщей радости и праздничное настроение особенно сильно чувствовались в Москве и провинции. Благодаря почитанию великих праздников, а также благодаря резким контрастам в явлениях природы, при

смене времен года, русская жизнь была много богаче впечатлениями и разнообразнее, чем западноевропейская.

На спорт смотрели тогда, как на удовольствие, как на средство приближения к природе. Я отправлялся иногда зимой в окрестности Петербурга, в живописные Юкки, по Финляндской ж. д., чтобы там побегать на лыжах. Иногда ездил на охоту, где общение с природой было еще тесней.

На лето мы снимали, обыкновенно, дачу, куда я приезжал к семье по праздникам. Несколько лет подряд жили мы в Финляндии, а потом облюбовали красивые морские берега возле Нарвы: Гунгербург, Силламяги. Гунгербург славился своим широким пляжем, тянувшимся на несколько верст. Летом 1910 года там случилась эпидемия дифтерита, которая, к несчастью, захватила и наших детей. Дети скоро выздоровели, но жена так извелась за их болезнь, что решено было отправить ее на поправку в Крым. Она поселилась в Ялте, куда поехал с ней и я. Это была моя первая поездка на юг, впервые я увидел южный пейзаж и субтропическую растительность, впервые мог любоваться красотами Ялты, Ореанды, Алупки.

Иногда ездил я в Тамбов навестить маму и попадал в другой мир.

Провинциальная тишина, покой, медлительность, объядение. Там я отдыхал от работы, отсыпался, толстел. Даже в карты научился играть, — без этого в провинции не проживешь, некуда времени девать. Нравы напоминали добрые гоголевские времена.

А там, на глубине России,
Там вековая тишина.

В одну поездку познакомился я с дворянином Ртищевым. Он пригласил меня на охоту, в имение к своим знакомым.

Под Петербургом я участвовал всегда в организованных охотах: приходилось снимать места и платить аренду; охота происходила с загонщиками или с егерем, который заранее выслеживал дичь. Под Тамбовом все было иначе. Доехали мы поездом до маленькой жел.-дор. станции, по Саратовской линии, а оттуда наняли мужиков везти нас на таратайках, запряженных парой

лошадей. Ехали медленно, долго. Дворянин Ртищев приятным тенорком тянул печальную сибирскую песню. Увидали озеро, остановились, начали стрелять по уткам, не осведомившись даже, кому это озеро принадлежит, как будто, действительно, в Тамбовской губернии земля была Божья. И правда, на десятки верст кругом ни души не было видно.

К вечеру приехали в какое то село, решили заночевать. Остановиться негде, отвели нам волостное правление. Еда и выпивка были с собой в изобилии. Стали располагаться на ночь на столах и на скамейках, но спать оказалось совершенно невозможным, — из всех углов и щелей поползли на нас тысячи клопов. Такого нашествия клопов я и вообразить не мог. И что, казалось бы, им делать в нежилом помещении!

Невыспавшись, пустились мы с зарей в дальнейший путь и в полдень прибыли к цели путешествия. Приняли нас по-русски, хлебосольно и радушно, закормили, запоили, не хотели отпускать. Охота была вольная, обильная, — стреляй, где хочешь и сколько хочешь, диких уток и бекасов несметное количество.

СМЕРТЬ ОТЦА

На общем фоне нашего благополучного существования бывали и горестные события. Из них самым значительным была смерть отца. Это произошло осенью 1908 года. Вызванный телеграммой, я поехал в Тамбов на похороны. То была первая смерть в нашей семье. Она произвела на меня потрясающее впечатление и оставила долгий след в моей душе.

В мое молодое, бодрое мироощущение вдруг ворвалось зловещее: memento mori. Я жил до того инстинктивным сознанием, что все еще впереди, что это только начало, предисловие моей жизни, — и вдруг лишился самого дорогого, — любимого отца, и с ним мысленно всего счастливого прошлого. Я сразу возмужал, понял и почувствовал всю временность и относительность земного и ужаснулся этому. Помню, перед гробом отца я стоял, испуганный тайной смерти, ошеломленный. Надо было проникнуться всем этим, привыкнуть... Мне это далось с трудом.

К. Ю. СТАРЫНКЕВИЧ

На другой день после похорон я должен был уезжать обратно в Петербург. Я с содроганием в сердце смотрел, как мама начала укладывать вещи, чтобы вскоре выбираться из родного дома. Перед моим отъездом ко мне пришел старый друг отца, — Константин Юльевич Старынкевич, и у нас произошел с ним глубоко волнующий разговор. «Ты знаешь, Сережа, что у меня никого на свете нет кроме вашей семьи. Я стар, болен, одинок. Разреши маме поселиться у меня! Вот вы с Женей завтра уедете, она останется одна. Ей тоже будет нелегко». Так решилась судьба мамы на дальнейшие годы и Константин Юльевич сделался, на эти годы, как бы моим вотчимом. То был очень умный и талантливый человек, но его сгубила бурная молодость. Блестящий гвардейский офицер, красавец, из знатной семьи, он не знал удержу в кутежах и буйных выходках. К тому же он был очень остер на язык и, не щадя никого, нажил себе немало врагов.

После одной особенно сильной попойки он женился на цирковой наезднице и был исключен из полка. В наказанье его сослали ... исправником в Кирсанов, уездный город Тамбовской губернии. Там, вероятно, он кутил и безумствовал, от провинциальной скуки, еще больше. Там же он на всю жизнь испортил свое здоровье. По долгу службы он распоряжался на пожарах и слишком храбро бросался в огонь: однажды на него упала горящая балка и сместила ему позвонок. Он остался хромым навсегда. Когда его перевели полицеймейстером в Тамбов, он уже немного угомонился, но все еще не оставил своих чудачеств. Иногда он отправлялся переодетым в воровские притоны, чтобы вылавливать оттуда воров.

Забавляясь наивностью тамбовских обывателей и потешаясь над их слабостями, он выкидывал над ними разные штуки, иногда довольно злые.

Его языка боялись все, даже само начальство. Тем не менее тамбовские жители любили его и чтили, как за его ум, так и за доброту. К тому же он был и бессребреник — качество не-

обычайно редкое у начальника полиции. Со своим начальством, — губернаторами, — он отлично умел ладить, а губернаторши, обыкновенно, в нем души не чаяли; ведь не могло быть собеседника, более остроумного, чем он.

Когда губернатором был добродушный Ржевский или Салтыков, ему было легко служить с ними. Трудновато приходилось иногда со вздорным и глупым Муратовым, но тут сильно помогала ему умная губернаторша. Хуже всего он ладил с хитрым и жестоким фон дер Лауницем. Когда все высшие тамбовские чиновники представлялись этому последнему и из их рядов, прихрамывая и опираясь на палку, вышел немолодой уже полицеймейстер, фон дер Лауниц, нахмурившись, сказал: «Как? Хромой полицеймейстер? Как же вы можете служить?» — «Привык головой служить, а не ногами, ваше превосходительство», — не моргнув глазом ответил Старынкевич. Понятно, таким ответом губернатор не очень остался доволен. Не мало было трениий между ними. Политика Старынкевича всегда была миролюбивой, он старался, чтобы в Тамбове все было тихо и мирно, — никаких «Союзов Русского Народа», никаких эксцессов, ни погромов, ни революционных выступлений. Лауниц, наоборот, стремился сделать карьеру, ему нужно было чем-нибудь отличиться, спокойствие было ему не на руку. И вот, к его удовольствию, революционные волнения 1905 года докатились и до Тамбова, и здесь произошла демонстрация. Но какая демонстрация? Несколько десятков человек учащейся молодежи, — гимназистов, реалистов, семинаристов, — пошли по главной улице с пеинем революционных песен. Губернатор, узнав об этом, немедленно распорядился вызвать отряд казаков и выехал сам на «усмирение беспорядков». Когда Старынкевич подоспел к месту встречи казаков с демонстрантами, он увидел, что Лауниц приказывает сделать предупреждение и что вот-вот, через минуту, казаки бросятся на толпу. Он подошел к губернатору и отрапортовал: «Разрешите, ваше превосходительство, мне распорядиться, — я с ними справлюсь. А вы не извольте беспокоиться». Губернатор уехал. В толпе раздавались угрожающие возгласы и продолжалось пение. Старынкевич первым долгом скомандовал казакам: «Кругом, марш!» — и отправил их обратно

в казармы. А затем, не спеша, ковыляя, опираясь на палку, пошел посреди улицы прямо в самую гущу демонстрантов. Те опешили, глядя на эту приближающуюся к ним фигуру, которая, казалось, ничем другим не была занята, как только разглядыванием ямок на мостовой, чтобы не оступиться. Подойдя к демонстрантам вплотную, он стал посреди них и затеял разговор: «В чем дело, ребята? Чего вы шумите? Чего вы хотите?»

Самые бойкие начали что-то выкрикивать. Он за словом в карман не лезет, отвечает то спокойно и серьезно, то иронически. Его остроты попадают в цель, шутки вызывают смех, — на это он большой мастер. Мало-по-малу настроение молодежи остывает. Геройское желание пострадать за убеждения пропало — за отсутствием казаков. Наступать на этого добродушного остряка, — старого хромого полицеймейстера, — как-то глупо. Поговорили и разошлись. Губернатор был взбешен, как его обошел полицеймейстер, а обыватели, в глубине души, благодарны, что он спас их детей от избиения и, может быть, от еще худших репрессий.

Старынкевич мог бы с успехом занять большой административный пост, а между тем зря загубил свою жизнь в захолустном Тамбове, разменялся на мелочи. Правда, незадолго до войны ему предложили должность вице-губернатора в Пскове, но он так привык уже к своему Тамбову, где он прожил много лет и успел состариться, что у него не стало энергии переезжать на новое место и начинать заново свою карьеру. По его просьбе он вскоре был назначен Советником Губернского Правления в том же Тамбове. В этой должности его застала революция.

С приходом к власти большевиков много ему довелось претерпеть лишений и унижений, пока он не скончался в 1920 году. В квартиру к нему вселили двух большевистских комиссаров, — грубых, пьяных, развратных, а он, тяжко больной, лежал в своей комнате, терпя недостаток во всем, — и в питании, и в тепле, и в медицинской помощи. Мать моя самоотверженно ухаживала за ним до конца дней его. И она немало претерпела от большевиков. Умер он в тяжких страданиях, после мучительной операции, в той же Тамбовской земской больнице.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ

ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ В 1914 ГОДУ

В одном наследственном деле, которое я закончил незадолго до войны 1914 года, возник вопрос о реализации наследственного имущества и о разделе его. В частности, обсуждался вопрос, что делать с обширным имением, находившимся в Минской губ.

На собрании наследников возникло два предположения: одно, — продать имение в целом и немедленно; другое, — разбить его на мелкие участки и распродавать постепенно по участкам. Я поддерживал первое предложение и в защиту его указывал, между прочим, что парцелляция имения затянется на несколько лет и мало ли что за эти годы может случиться. «Позвольте, — возразил мне один из наследников, — что же собственно может случиться?» — «А мало ли что? Война, например...» Наследники решили, по большинству голосов, распродавать имение по участкам, чего, конечно, до войны сделать не успели, и я оказался, таким образом, в роли prophète de malheur.

Но, сказать откровенно, войну в качестве аргумента я упомянул тогда без всякого убеждения, что она действительно будет, а просто теоретически. Насколько я, как и огромное большинство русских людей, далек был от мысли о близости войны, видно из того факта, что как раз в 1914 году собрался я, наконец, совершить поездку за-границу. Я давно мечтал о такой поездке, а теперь осуществление ее стало возможным, так как я крепче стал на ноги в материальном отношении.

«Заграница», то есть Западная Европа, представлялась мне тогда, как и большинству русских интеллигентов, в идеалистическом свете. Там осуществление всех культурных стремлений человечества, там памятники великих духовных побед на каждом шагу, там и порода людей должна быть иной, лучшей, чем

в отсталой России. С такими несколько наивными представлениями о Европе переехал я, в июле 1914 года, прусскую границу, направляясь в Берлин. Разочарования начались очень скоро. Уже на немецкой границе я был поражен нечестностью таможенного чиновника, который явно намекал на взятку, придираясь ко мне. В поезде кондуктор откровенно заявил, что за маленькое вознаграждение он посадит меня на лучшее место. Вот она хваленая немецкая честность!

Неуклюжий, громоздкий Берлин не мог прельстить меня своим внешним видом после стройного, величественного Петербурга. Через несколько дней я уехал в Мюнхен. Мюнхен мне показался интересней своими зданиями в нео-классическом стиле и обширными, удобными пивными. Я посетил его знаменитые картинные галереи. Жил я там в маленьком пансионе и собирался побыть еще несколько дней, чтоб сходить в театр, как однажды утром моя хозяйка, чрезвычайно толстая и добродушная немка, почтительно называвшая меня Herr Doktor, постучалась в дверь моей комнаты, подала газету и, крайне взволнованная, стала что-то объяснять, чего я толком не понял, так как в немецком языке был слаб. Я взглянул на заголовок газеты и там прочел об ультиматуме, предъявленном Австрией к Сербии. Сопоставив с этим сообщением волнение моей хозяйки и частое упоминание ею в только что происшедшем разговоре слова Krieg, я почувствовал, что мне следует убираться из Мюнхена подобру-поздорову, что я и исполнил в тот же день. Через несколько часов я катил по живописной Швейцарии. Ее горные пейзажи были моим первым сильным впечатлением во время этого путешествия за-границу, ибо до той поры я никогда таких высоких гор не видел.

Жена моя ждала меня в Визене, возле Давоса, куда она уехала раньше меня. Вначале мы были очень довольны своим отдыхом в Визене. Массу новых впечатлений доставляло нам пребывание на такой высоте. Мы парили над облаками, которые то окутывали нас со всех сторон, то, разрываясь, давали дорогу ярким лучам солнца и открывали нам чудесные виды на лежащие внизу долины. Уютно было и в нашем отеле: идеальная чистота, отличная прислуга, пышно взбитые перины, вкусная еда.

Но, увы, грянула война и все изменилось, как по мановению жезла.

Прежде всего началось повальное бегство всех иностранцев из Визена; большинство их были немцы. Отель наш опустел, хозяева и прислуга сразу утратили свою любезность, а по прошествии нескольких дней по-просту стали выживать нас, так как держать отель стало невыгодным.

На прогулках мы начали встречать военные патрули, которые требовали предъявления документов. Надо было уезжать, — но куда? Каким путем возвращаться в Россию? В это время мы получили письмо от супругов Исаченко, которые, как я рассказывал, в момент объявления войны находились в Мюнхене и подверглись там разным враждебным выходкам со стороны немецкой толпы. Теперь они направлялись в Италию, в Виареджио, к своему приятелю Гаусману. И мы тоже решили направить свои стопы в Италию.

Расставшись с живописным Визеном, который вдруг сделался таким негостеприимным, мы переехали величественный Бернинский перевал, из царства снегов перенеслись в тот же день в жаркую итальянскую долину и помчались поездом в Милан.

Здесь пришлось испытать нам немало мытарств.

Италия в войну еще не вступила, но тем не менее переживала паническое настроение. Мы неожиданно очутились в затруднительном финансовом положении, так как русских денег или вовсе не принимали, или меняли их по очень низкому курсу. А снестись с Россией и перевести оттуда деньги было невозможно. Мы отправились к русскому консулу и там застали толпу людей, бывших в том же положении, как и мы, и осаждавших его той же просьбой о деньгах и об отправке на родину.

Русский консул в Милане, очень жизнерадостный и очень любезный итальянец, совершенно растерялся перед неожиданностью и необычайностью положения. Пока он сносился с русским послом в Риме — Гирсом, мы должны были как-то жить и изворачиваться в Милане на остатки наших средств.

Жили мы в маленьком, отвратительном отеле, питались в домашней столовой, где нас кормили одними макаронами. Жара в то время стояла невероятная, а у меня на беду еще сильно

разболелся зуб. Есть благодаря этому я почти не мог и вообще свету Божьего не взвидел, а только ходил из одного бара в другой и пытался утолить жажду разными прохладительными напитками, которые, однако, обладали качеством разжигать эту жажду еще сильней.

Наконец, разыскали мы дешевого зубного врача, который, без дальнейших околичностей, вырвал у меня больной зуб и тем самым возвратил к жизни. Тем временем консул получил для нас деньги из Рима. Российское правительство распорядилось выдать нам всем, застрявшим за-границей, по некоторой небольшой сумме, достаточной, однако, для возвращения домой.

Мы все время поддерживали связь с Исаченко и решили вместе возвращаться в Россию, для чего встретиться в Венеции. Вот при каких тревожных обстоятельствах попал я в Венецию.

Конечно, нам приходилось очень экономить. Остановились мы в скромном отеле «Савойя», на набережной Большого канала, возле Дворца Дожей, и прежде всего пошли справиться о возможности и условиях возвращения в Россию. Тут выяснилось, что билеты на пароходах, идущих в Константинополь, разобраны на две недели вперед. Сообщив об этом Исаченко, мы взяли билеты для себя и для них и остались ждать две недели в Венеции.

Хорошо жить в Венеции знатным путешественникам, со спокойной душой, никуда не торопясь и не нуждаясь в деньгах. Мы были в совсем ином положении и тем не менее Венеция не могла не очаровать нас.

Несмотря на августовскую жару, мы неустанно бродили по венецианским улицам и переулкам, усердно осматривали дворцы, церкви, музеи.

Это двухнедельное пребывание в Венеции оставило во мне неизгладимый след, — у меня открылись очи духовные на многое такое в искусстве, чего я раньше не понимал и не ценил.

Через две недели мы погрузились на итальянский товаро-пассажирский пароход, шедший в Константинополь. Путешествие, единственное в своем роде. Итальянцы, пользуясь обстоятельствами, эксплоатировали нас, беженцев того времени, как

могли. Двухместную каюту приспособили для четверых, — мы помещались в ней вместе с четой Исаченко. Удобств было мало. Время стояло жаркое, — август месяц, — и мы временами буквально задыхались, вчетвером в маленькой каюте, с вентилятором вместо окошка. Кормили нас неважно.

А все же, несмотря на все эти неудобства и на тревожное время, путешетсвие это вышло необычайно интересным.

Мы двигались медленно, останавливались часто. На Адриатике наш пароход заходил в три итальянских порта: Анкона, Бари и Бриндизи. Везде мы слезали на берег и бродили, осматривая эти города. Настроение в итальянской толпе было очень нервное, но расположенное в пользу русских. На улицах или в кафэ, узнав, что мы русские, кричали: « Evviva Russia! »

В Бриндизи мы катались по морю на парусной лодке и купались. На острове Корфу осматривали красивый замок «Ахиллеон», — в духе Беклина. Цвет морской воды около Корфу был совершенно необыкновенный, — синий, как бирюза. Мы приблизились к Греции. Через Коринфский канал нас не пустили, пришлось огибать весь греческий полуостров.

Погода все время стояла чудная. Контуры греческих берегов были очень красивы и вызывали поэтические воспоминания из эпохи странствий Одиссея.

Та фантастическая Греция, с ее богами, мифами и героями, с которой мы знакомились в наши школьные годы, оказалась теперь воплощенной реально, — географически, по крайней мере, — перед нашими глазами. Мы проезжали мимо Спарты, Коринфа, подходили к Афинам. В Афинах мы провели полдня. На закате солнца мы начали осматривать развалины Акрополя и оставались там еще в сумерках, при свете луны. Там, среди этих мраморных руин, храмов, театров, жертвенников, статуй и колонн, можно было позабыть все треволнения современности. Мы их отчасти и позабыли.

Спустившись в современный город, мы обедали в ресторане на одной из главных улиц, но обед вышел неудачный: заказали себе специально греческие блюда, а есть их не могли, — до того они были нам не по вкусу.

За Афинами следовали Салоники. Несмотря на непродолжи-

тельность нашей остановки там, Вас. Вас. Исаченко непременно пожелал сойти на берег, чтобы попариться в турецкой бане. Я уступил его настояниям и составил ему компанию. Маленький проворный турченок так парил нас и так энергично растирал щетками и мочалками, что мы вышли из бани в совершенно новой телесной оболочке.

После Салоник наше беспечное настроение сменилось более тревожным, так как мы приближались к Дарданеллам.

На пароходе нашем большинство пассажиров были русские. Выделялся высокий, седой господин, с породистым лицом и аристократическими манерами. То был видный чиновник удельного ведомства Н. Г. Карцев. С ним ехала жена, знаменитая когда то певица Панаева-Карцева, и две дочери их, взрослые барышни. Ехало с нами еще двое симпатичных старичков: член Одесской Судебной Палаты Сергеев и его сестра, известная артистка Моск. Худ. театра Раевская. Другие пассажиры ничем не выделялись.

Из иностранцев общее внимание привлекал богатый турок, вошедший на пароход в Салониках. Он вез с собой целый гарем, — добрый десяток жен, которых поместил на верхней палубе. Они бессмысленно сидели целый день на разостланном для них ковре, отгороженные от всей остальной публики и охраняемые свирепого вида евнухом. Впрочем эта охрана казалась совершенно излишней, — до того все они были уродливы и неинтересны.

Интереснее всего было наблюдать жизнь на нижней палубе. Там помещалась третьеклассная публика и располагалась она совсем по-беженски, — на полу, на вольном воздухе, благо погода стояла жаркая. С верхней палубы видна была вся жизнь этого человеческого муравейника. Там обсуждались все политические и военные события и нередко происходили импровизированные митинги. Я иногда спускался вниз, наблюдал, прислушивался. Были там и комические типы. Мое особое внимание привлек один маленький, юркий старичок-еврей, с седенькой бородкой клинушком. Война застала его на курорте в Австрии. На пароходе с ним была супруга, толстая, пухлая особа, которая торжественно восседала на больших узлах с пожитка-

ми. Она постоянно что-то причитывала, вздыхала и всхлипывала. Он же непрестанно суетился и прислушивался к разговорам. Вначале он имел совсем жалкий, испуганный вид, высоко приподнимал воротник своего пиджака и уходил в иего головой, словно прячась. В первый раз он привлек мое внимание при следующих обстоятельствах. Стояла небольшая группа людей и в центре ее молодой человек, в котелке и коричневом жакете, который рассказывал, как и все тогда рассказывали, о разных неприятностях, постигших его в связи со внезапным началом войны. Мой старичок стоял тут же, глядя на рассказчика с недоверчивым видом и придерживая ухо, чтобы лучше слышать.

Внезапно он выступил с вопросом: «А вы куда теперь едете?» «Как куда? Туда же, куда и вы: в Россию». — «А сколько вам лет?» — «Тридцать». — «Послушайте, — в раздумьи сказал старичок, — а ведь вас заберут на войну»... Но тут он сам испугался своих слов и быстро юркнул в сторону*). Через некоторое время он сделался спокойней и смелей, опустил воротник своего пиджака и даже начал сам рассказывать свои похождения. «Можете себе представить, — говорил он, — поехали мы с супругой, как всегда, в Карлсбад на леченье и вдруг эта война! Мы же ничего не знаем, по-немецки не говорим, газет не читаем, никого не трогаем. А нас хватают и бросают в тюрьму! И не нас одних, а всех русских. Даже профессора Максима Ковалевского, — особу «в таком положении»! За что? — я вас спрашиваю. Что мы такое сделали? Ну я еще ничего, а моя супруга (он почтительно указывал на толстую супругу, сидевшую на узлах), — женщина нервная, женщина образованная, — каково ей было перенести это! Мы сидим в тюрьме, волнуемся, ничего не знаем. Потом нас выпускают и говорят: выезжайте немедленно. Но куда же мы поедем? В Россию же ехать нельзя. Мы берем билеты и едем. И что же? На второй станции нас хватают и опять бросают в тюрьму. Это же Бог знает что такое! Это же произвол. И когда же это кончится! Можете себе представить, что было с моей супругой. Сидели мы сидели, потом

*) Его замечание не пропало даром: молодой человек в коричневом жакете до России недоехал, он слез где-то по дороге.

нас выпустили и опять велели уезжать. Но куда, я вас спрашиваю? Поехали мы в Швейцарию, — так нас туда не пустили. Как вам это нравится! Ну что вы будете делать! Так мы бросились в Италию, — не в Германию же нам ехать. Ну, слава Богу, нас пустили в Италию. Я говорю: «слава Богу», а это вовсе не «слава Богу», потому что мы по-итальянски не говорили и денег не имели. Так я вам скажу, сколько мы еще натерпелись, пока устроились вот на этот паршивый пароход. Но моя жена совершенно больна, — она же такая нервная...»

Нервная супруга, заметив, что на нее обращают внимание, опять начинала вздыхать и всхлипывать.

Как ни грустны были его рассказы, но рассказывал он их удивительно смешно. По мере того, как он обживался на пароходе и знакомился с публикой, он все смелее пускался в сетования и жалобы. Слушали его охотно благодаря комичности его ужимок и манер. Иногда слушатели подавали ему иронические реплики, но он этой иронии не замечал, а воодушевлялся собственным красноречием и успехом у публики еще более. При этом характер его речей менялся, по мере приближения к цели путешествия. Вначале он позволял себе лишь робкие жалобы на свои злоключения, но постепенно в тоне его стали звучать ноты страстного обвинения и возмущения. «Это же произвол, я вам говорю!» — восклицал он все чаще. И вид он приобрел более самоуверенный, стал аккуратней одеваться и носить воротничек. Когда же, в Константинополе, мы пересели на русский пароход, он сделался положительно неузнаваем. Я увидел его одетым в крылатку, с широкополой шляпой на голове и солидной тростью в руках. Он с важным видом ораторствовал перед толпой, которая теперь в значительной мере состояла из паломников и монахов, ехавших с Афона и из Иерусалима.

В сотый раз описывал он свои австрийские мытарства и комизм его рассказа нисколько не уменьшился, несмотря на более солидный вид рассказчика. Много прибавилось разных подробностей. Но финал рассказа был для меня совсем новым и неожиданным.

«Что же вы думаете, — кричал он, стуча тростью об пол, — я все это так ему и оставлю?» — «Кому ему?» — «Вильгель-

му!» — твердо отвечал он, вперяя агрессивный взгляд на вопрошавшего. Слушатели разражались смехом.

«Вы можете смеяться, сколько хотите, но вы увидите», — говорил он многозначительно. — «Что же это такое мы увидим?» — «Я так этого не оставлю. Я к нему иск предъявлю и он мне заплатит». — Новый взрыв хохота и ироническая реплика: «Что же ты у гомельского мирового судьи что ли иск к нему предъявишь?» — «Я найду, где мне иск предъявить, но я так этого не оставлю», — твердо стоял он на своем.

Судьба рассудила его с Вильгельмом несколько иначе, нежели он предполагал.

Во все время нашего путешествия наши сведения о войне были смутными и недостоверными. Итальянские и особенно греческие газеты были полны сенсаций. Там сообщалось о победоносном шествии русских войск, которые, будто бы, уже взяли Кенигсберг и подходят к Берлину. С особенной тревогой следила за этими известиями семья Карцовых. Единственный сын Карцова, юный офицер гвардейского полка, вызван был срочной телеграммой из Швейцарии, где находился вместе с родителями и сестрами. Он еле успел выехать с последним поездом на Берлин и родители не знали, удалось ли ему благополучно проехать Германию.

Во время перехода от Салоник до Дарданелл, все русские были в особенной тревоге: со дня на день ожидалось присоединение Турции к войне на стороне Германии, а в таком случае мы рисковали попасть в плен к туркам. На второй день этого перехода, когда мы были в открытом море и приближались к Дарданеллам, раздался пушечный выстрел. Наш пароход остановился и вскоре мы увидели на горизонте миноносец, шедший на всех парах. Он быстро приблизился к нам: это был английский миноносец. Тотчас от него отвалила лодка с одним офицером и несколькими матросами. С нашего парохода опустили трап и ждали их прибытия.

В этот момент мы впервые почувствовали грозную реальность войны и следили за приближающейся к нам лодкой с жутким волнением. Из нее вышел совсем молодой английский офицер и стал быстро подниматься по трапу на верхнюю палубу, где

собрались все пассажиры. И вдруг Карцов, а за ним вся его семья, запели английский гимн и многие из присутствовавших присоединились к ним. Минута вышла торжественная. Офицер, поднявшийся на палубу, остановился с удивлением. А когда пение кончилось, старик Карцов быстро подошел и обнял его; он был, очевидно, под влиянием мысли о собственном сыне. Юный англичанин сконфузился и, конечно, не понял значения этого жеста. Он быстро исполнил все формальности и сошел обратно на свой катер под наши приветствия, а мы продолжали свой путь.

Вот и грозные каменные громады Дарданелл. Долго стояли мы перед ними, пока пришло турецкое сторожевое судно и взяло нас на буксир.

Я помню тот момент, когда мы вошли в Мраморное море и остановились у Малоазийского берега. Было под вечер, солнце садилось и закатные лучи его были невиданного мной, малинового цвета. Много чувств вызвало тогда во мне это соприкосновение с Малой Азией, таинственной колыбелью древнейших цивилизаций.

Теперь Константинополь был недалеко. Карцов послал туда телеграмму своему родственнику Протопопову, атташэ посольства, с предупреждением о нашем прибытии. Протопопов встретил нас там и тотчас поднялся на борт парохода. Встреча с ним взволновала нас всех, так как, со времени объявления войны, он был первым русским официальным лицом, от которого мы могли, наконец, получить точные сведения о всех событиях. Он доставил нам и русскіе газеты. Нас удивил тогда его грустный вид и артистка Раевская заметила, что никогда не встречала молодого человека с такими печальными глазами.

Мы стояли на рейде в Золотом Роге и издали любовались Стамбулом и мечетями. К сожалению, сойти на берег посольство нам не разрешило, опасаясь враждебных выходок со стороны турок. Целая флотилия лодок окружила пароход и галдящая толпа оборванцев, кричавшая на всех языках, — по-турецки, по-гречески, по-русски, — вскарабкалась на верхнюю палубу с ловкостью обезьян и атаковала пассажиров, предлагая им разные безделушки и восточные яства.

Через несколько часов нас перевезли на лодках, отчаянно плясавших по бурным волнам Золотого Рога, на русский пароход «Евфрат». Тут у нас сразу отлегло от сердца, — мы очутились на русской территории, среди своих, под начальством русского капитана. «Здесь Русью пахнет...» И, действительно, мы почувствовали вскоре аппетитный запах щей. Впервые, со времени нашего отъезда из Венеции, мы сытно и вкусно поели, — обеды на итальянском пароходе были весьма тощими. Но наше приятное настроение продолжалось недолго.

Мы должны были выйти из Константинополя на следующий день. Печальный Протопопов большую часть первого дня оставался на пароходе в обществе Карцовых. В день отъезда он вызвался проводить нас по Босфору, вплоть до дачи русского посольства. И вот тут только, провожая нас, он решился сообщить Карцовым ужасную весть: сын их, благополучно проехав Германию, присоединился к своему полку возле Варшавы и вскоре после того был убит в одном из первых боев.

Невозможно передать того потрясающего впечатления, какое весть эта произвела на семью Карцовых. Старик рыдал навзрыд, как ни старались дочери утешить его. Но трагичней всего это отразилось на матери: с ней сделалось нечто вроде столбняка. Происходили душераздирающие сцены, когда муж и дочери пытались вывести ее из бесчувственности. Они старались всячески вызвать в ней реальное представление о смерти сына и исторгнуть слезы. Все было тщетно. Тяжесть нависла над всеми нами во время последнего, двухдневного этапа нашего пути, — от Константинополя до Одессы. Только в Одессе несчастная мать пришла, наконец, в себя и облегчительные слезы полились у нее из глаз.

Итак, с тяжелым сердцем мы подходили к Одессе. Что мы встретим на родине? Как отразилась война? Сколько там должно быть драм, подобных только что виденной нами! Мы вспоминали лихорадочную атмосферу в Италии и в Греции, грозовое затишье в Турции...

Вот вошли мы в одесский порт, причалили к набережной. Меня поразила тишина, медленность движения, малолюдство. Единственный представитель власти, встречавший пароход, был

невзрачный, провинциальный жандарм. Сошли на берег. Поехали в гостиницу. И на улицах Одессы также не чувствовалась война.

Потом, через день, сели мы в просторный русский вагон и поезд потащился по бесконечным, безбрежным полям, где только изредка показывались вдали малороссийские деревни с их белыми хатами и стройными тополями. Так пересекли мы снизу вверх все пространство огромной России, — от Одессы до Петербурга, — с тем же ощущением тишины, покоя и безбрежности. Где же тут война? Казалось, для нее тут нет возможности, нет атмосферы, — здесь так просторно для всех, такая мирная тишина. Война где-то в бесконечной дали. Только раз, на одной из узловых станций, увидели мы вагон с пленными австрийцами. Но и в этом напоминании о войне не было ничего жуткого, — австрийцы выглядели добродушными и миролюбивыми.

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И ЖИЗНЬ В ТЫЛУ

С тех пор прошли три года великой войны.

Сестра моя пошла на фронт в качестве сестры милосердия, была ранена и получила Георгия. Мой двоюродный брат, Борис Какушкин, пробыл всю войну на фронте в качестве врача. Тоже и брат моей жены, — врач. Из близких друзей Ромм, как я сказал, был контролером Земско-Городского Союза на Северном фронте.

Бердников состоял помощником начальника санитарной части на Юго-Западном фронте и побывал, между прочим, около Перемышля. От всех них мы получали письма и слушали их рассказы, когда они бывали в отпуску.

И все же настоящего ощущения войны, всех ее ужасов у нас не было.

Не знаю, чем это объяснить. Тем ли, что мы были в далеком тылу и не подвергались непосредственной опасности. Тем ли, что никто из наших близких серьезно не пострадал...

Тем ли, что мы сознавали необъятность русских пространств и неисчислимость народонаселения России, а потому были уве-

рены в конечной победе (увы). Тем ли, наконец, что у нас плохо была поставлена военная пропаганда и власти не желали ни помощи, ни критики со стороны общества.

Во всяком случае, жизнь в Петербурге шла, как ни в чем ни бывало. Единственное, чем заметна была война, это большее количество военных шинелей на улицах, да некоторое число вновь открытых военных лазаретов; — впрочем, не столь большое число, чтобы они могли чересчур бросаться в глаза и производить угнетающее впечатление на публику*).

Странно мне теперь, что знакомые и друзья, приезжавшие на побывку, не умели дать нам своими рассказами настоящего представления о том, что происходило на фронте, что такое нынешняя война. Или они сами поддавались влиянию мирного хода жизни в тылу и рады были забыться от ужасов фронта, или в их спокойном отношении к этим ужасам сказывался русский характер, склонный к безропотности и примирению с обстоятельствами...

Мы, петербургские адвокаты, так же как и другие общества и организации, содержали свой военный лазарет и посылали санитарный отряд на театр военных действий, но все это не стоило нам больших усилий. Мы были уверены, как я сказал, в непобедимости России, мы не сознавали всей опасности этой войны и ее последствий для нашей родины.

Я должен сознаться, что понял по-настоящему весь ужас прошедшей войны и все ее значение только здесь, в эмиграции, когда я ближе узнал, как французы жили в то время и что переживал тогда Париж. Помогла мне, в этом отношении и литература (Доржелес, Ремарк и др.).

НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

Еще вспоминается мне время февральской революции 1917 года.

Жуткие дни, когда на улицах Петербурга шла стрельба, повсюду бродили беспорядочные толпы народа, горело здание Ок-

*) Жена моя, работая в одном из этих лазаретов, получила там заражение крови и несколько дней была между жизнью и смертью.

ружного суда, со всеми архивами и библиотекой, а нормальная жизнь остановилась. Бродил и я в те дни по улицам с чувством жуткого любопытства, хотя такие прогулки и были небезопасны. Стрельба начиналась неожиданно то из окон, то с крыш, а иногда из-за угла, и падали раненые, нередко случайные прохожие или зеваки.

Центр оживления — Таврический дворец, Государственная Дума. По прилегающим улицам шли процессии со знаменами, с пением «Марсельезы», создавались импровизированные митинги. На этих митингах речи ораторов не носили еще кровожадно-большевистского характера, — напротив, они призывали к спокойствию, к порядку, к избежанию всякого кровопролития. «Не надо крови, товарищи», — слышалось часто в этих речах. Слышались и призывы к продолжению войны, которые встречались толпой сочувственно.

Со мной произошел, однако, неприятный случай. Я шел по Невскому. Мимо проносились автомобили, на них солдаты, с ружьями на перевес, или студенты с белыми повязками на рукаве, обозначавшими их принадлежность к временной организации по охране порядка. Когда я проходил около Литейного проспекта, один такой автомобиль остановился среди улицы и оратор-студент стал говорить с него о необходимости продолжения войны «до победного конца». Толпа рукоплескала ему, кричали «ура», а по окончании речи стали мирно расходиться. Я тоже продолжал свой путь по Невскому, как вдруг услышал громкий разговор, за своей спиной. Я обернулся и увидел человека в форменной военной шинели, какие носили тогда не офицеры, а специалисты, прикомандированные к армии. Этот человек показывал на меня и с негодованием кричал: «Вот он! Вот этот орал — «долой войну!» Так этого нельзя оставить. Это шпион, наверное, — надо его арестовать!» Толпа окружила меня, все слушали этого типа с сочувствием, поддакивали ему и угрожающе наступали на меня.

Откуда то появился солдат с винтовкой и схватил меня за руку. Я струхнул. Время было смутное, настроение толпы опасное. Зачем этот субъект натравливал на меня народ? Может быть, правда, он слышал возглас: «долой войну» и ошибочно

приписал его мне. А может быть, то был смутьян, переодетый шпион, который нарочно разжигал страсти для увеличения общего развала и беспорядка. Как ни как, надо было энергично защищаться. Я собрался с духом и сам начал наступать на своего обвинителя. «Это ложь, — кричал я, — я ничего подобного не говорил и говорить не мог! Какой я шпион! Я — петербургский старожил, присяжный поверенный и живу там-то. Если вам угодно проверить мое заявление, пожалуйте со мной ко мне на квартиру, — это недалеко отсюда, — и там удостоверят мою личность. Да вот кстати и мой паспорт (к счастью, он был со мной). А вот вы кто такой? Покажите вы ваш паспорт и скажите ваше имя и адрес». Тут мой обвинитель смутился и отступил. Или у него не было с собой документов, либо действительно это была какая-то темная личность. Во всяком случае, его смущение в толпе заметили. Тогда я стал еще смелей наступать на него. «Ага! Вы не желаете сказать, кто вы и откуда! Не верьте ему, товарищи, это смутьян и провокатор. Он нарочно подбивает вас на беспорядки. Может быть, он и есть немецкий шпион».

В толпе почувствовалась нерешительность. Солдат отпустил мой рукав. Какая-то простая женщина, стоявшая передо мной, оглядела меня с ног до головы и задумчиво произнесла: «Ой, товарищи, что-то не похож он на шпиона». Окончательно выручил меня из беды человек в картузе, типа мастерового, который быстро подошел ко мне и, подтолкнув, сказал вполголоса: «Проходите, проходите, товарищ, — не мешкайте». Я медленно повернулся и пошел. И только дойдя до Фонтанки и завернув за угол, я вздохнул свободно.

В один из первых дней революции меня остановил на улице присяжный поверенный П. М. Могилянский и настойчиво просил меня прийти вечером в адвокатский клуб, на Басковой улице, для совещания по продовольственному вопросу. Он сообщил мне, что подвоз и распределение продуктов, в виду революции, совершенно дезорганизованы, скоро нечего будет есть и тогда нам угрожают голодные бунты и полная анархия. Надо что-нибудь предпринять немедленно.

Хотя Баскова улица находилась совсем недалеко от меня, дойти туда вечером было делом нелегким. На улицах полная

темнота, дома наглухо закрыты, а магазины заколочены. Всюду жуткая пустота, — лишь изредка промелькнет испуганная фигура, вроде моей в тот вечер. А иногда засвищет вдруг шальная пуля, неведомо откуда вылетевшая.

В адвокатском клубе собралось нас немного, всего несколько человек. Там я узнал, что, по инициативе Государственной Думы, решено организовываться по участкам, при чем центр организации нашей, Литейной, части, будет помещаться в доме № 10 по Литейному проспекту.

На следующее утро я явился на Литейный № 10 и там получил поручение занять, совместно с прис. пов. И. Н. Каном, квартиру Министра Внутр. Дел, на Фонтанке 12 и приступить к организации в ней коммиссариата. Нам нацепили белые повязки на рукава пальто, как символ новой власти. Эти повязки получили уже такую популярность, что когда мы явились в квартиру министра, охраняемую отрядом юнкеров, эти последние отдали нам честь и оказали полное содействие.

В квартире мы застали порядочный хаос. В первые дни революции сюда ворвалась толпа, варварски побила зеркала в вестибюле и произвела другие разрушения. Битое стекло валялось повсюду на красных коврах и хрустело под ногами. Все носило следы внезапного и поспешного бегства. Рояль был открыт и на пюпитре стояла песенка Изы Кремер. В детской валялись разбросанные по полу игрушки. По слухам, жена министра должна была спасаться от толпы через потаенную лестницу.

Квартира министра разделялась на две половины. Одна, слева от входной парадной двери, имела более официальное назначение: здесь был кабинет министра и рядом с ним красивый приемный зал с мраморными колоннами; дальше шла биллиардная. Другая часть квартиры, справа от входной лестницы, предназначалась для семьи и занята была будуаром, маленьким салоном и детской. Наш коммиссариат поделился на две части: административно-полицейскую и продовольственную. Во главе первой стал прис. пов. Б. Н. Кнатц, заведывание второй поручено было мне, при чем мне отведена была меньшая, семейная половина квартиры.

Управление комиссариатом было коллегиальное и в коллегию эту входили больше адвокаты: Е. А. Гернгросс, А. А. Балавинцев, Таунлей, Данчич, Балутенко и др. Трудно себе представить, до какой степени приходилось все начинать сначала. Новые милиционеры не знали, как и за что взяться, не умели составить простого полицейского протокола, не знали, куда направить дело, куда посадить пойманного с поличным вора и т.д.

Я в своем продовольственном отделе тоже был, как в лесу. Дело было для меня абсолютно незнакомое. В то время заведывание продовольствием Петербурга сосредоточилось в руках Городской Управы. Все продовольственные грузы направлялись на ее адрес и она распределяла их по районам. На меня выпала, таким образом, задача выяснить потребность нашего участка в продовольствии, получать это продовольствие через Городскую Управу и распределять между лавками.

Осуществлять все эти задания при тогдашней разрухе было делом нелегким. На бумаге выходило так, а на деле иначе. Можно было выписывать сколько угодно требований в Городскую Управу и даже получать оттуда просимые ордера, но с этими ордерами надо было еще отправляться на станции жел. дор., отыскивать на запасных путях вагоны с продовольствием, своими средствами производить их разгрузку и доставку груза на место. Нужно было для всего этого иметь опытных и энергичных «толкачей», иначе нельзя было нигде ничего добиться. А бывало и так, что Управа по нескольку дней совсем не давала ордеров, так как вагоны с продовольствием не прибывали. Я начал свою работу с некоторого самообучения. Обратился к сведущим людям, — стал созывать собрания булочников, мясников, торговцев маслом, молоком и т. д. и с ними беседовать. От них узнавал я иногда очень полезные, а иногда и очень неприятные вещи. Узнал я, например, что очень сложная система закупок на местах, по деревням, которая создавалась десятками лет, теперь пришла в полное расстройство и надо было ее создавать сначала. Затем я старался выяснить через них потребность нашего района в продовольственных продуктах. Тут, конечно, мои осведомители называли преувеличенные цифры. Особенно трудно было сговориться с булочниками относительно

количества «припека». Одним словом, уже тогда приходилось мне осуществлять знаменитый впоследствии Ленинский «учет и контроль». Но надо сказать, что сами торговцы понимали в то время серьезность положения и охотно шли мне навстречу.

Скоро имя мое стало весьма популярным в районе, но эта популярность меня только пугала. Меня считали каким-то «продовольственным диктатором», а на самом деле мои функции были много скромней и я всецело зависел от Городской Управы, а еще больше от аккуратности жел. дор. доставок.

Между тем, грузов прибывало все меньше. Их часто засылали в другие места или по-просту разворовывали по дороге. Сказывалась и дезорганизация на местах закупок. Городская Управа решила тогда ввести распределение продуктов по карточкам. Но легко сказать введение карточной системы при всеобщей административной разрухе! Назначен был день ее введения, а за два дня до назначенного срока нам в район не прислали еще ни карточек, ни инструкций о порядке их применения.

Я уже сказал, что у меня не было ни знаний, ни опыта в продовольственном деле, но что касается организации моего бюро и канцелярской части, то могу похвастаться, что это было поставлено образцово. Мне посчастливилось найти себе двух отличных помощниц: сестра Вас. Вас. Исаченко — Наталия Васильевна и дочь прис. пов. Недзвецкого — Ольга Конрадовна Недзвецкая, — две очень интеллигентных и неутомимых работницы. Обе они, конечно, работали совершенно безвозмездно, как и я, и, надо сказать, работали, не жалея себя и не покладая рук. Работы было масса, — и есть, и спать, и бывать дома приходилось нам урывками. С самого раннего утра у меня начинал трещать телефон. С такими сотрудницами мы ввели карточную систему в своем районе в кратчайший срок, как только получили карточки. Впрочем, волнений и всяческих недоразумений с ее введением было немало.

События политической жизни развивались, между тем, с быстротой. Создался общественный кабинет князя Львова, восходила звезда Керенского.

Помню такой эпизод. Был день похорон жертв революции. По-

хороны эти, с большой торжественностью должны были происходить на Марсовом поле. Я был занят, как всегда, в продовольственном отделе, когда коллеги спешно вызвали меня в другую половину комиссариата. «Хотите видеть интересную картину, — спросили меня, — посмотрите, кто сидит у нас в приемном зале». Я заглянул в зал с колоннами и увидел там почти всех тогдашних министров, во главе с князем Львовым. Они сидели там со скучающим видом и чего-то ждали. Какова же была причина их появления в нашем комиссариате?

Марсово поле было оцеплено рабочими-милиционерами, которые взялись поддерживать порядок. На мосту через Фонтанку милиционеры задержали автомобиль министров, потребовали от них пропуск Совета Рабоч. Депутатов, и, несмотря ни на какие резоны, ни на указание, что в автомобиле находится сам Председатель Совета Министров, им дальше ехать не позволили. Пришлось повернуть назад, заехать в ближайший комиссариат, то есть в наш, и отсюда звонить по телефону во все концы города, разыскивая спасительного Александра Федоровича (Керенского). Наконец, Александр Федорович приехал, взял министров под свое покровительство и «провел» их на церемонию.

Наш комиссариат организован был, как и другие комиссариаты Петербурга, по инициативе Комитета Государственной Думы. Вскоре после начала нашей деятельности мы получили также легализацию и снизу, от избранников народа. Этими избранниками были уполномоченные домов. Примерно через месяц после начала нашей работы мы выступили перед этими представителями населения с публичным отчетом о нашей деятельности. Мы объяснили им, в каких условиях принялись мы за дело и чего мы достигли. Собрание это происходило в зале Тенишевского училища и было весьма многолюдным. Наши речи-отчеты получили всеобщее одобрение и сопровождались шумными аплодисментами. Была попытка одного молодого рабочего произнести речь в большевистском духе, но она тотчас же была остановлена всеобщими протестами. Каждый из нас, членов комиссариата, говорил о своей работе в отведенной ему области. Таким образом, мне пришлось говорить о работе про-

довольственного отдела. И хотя речь моя имела успех, но то слишком возбужденное настроение, в котором проходило это, по существу чисто деловое, собрание, оставило у меня неприятный осадок. Я не создан был для работы в революционной атмосфере. Я взялся за это дело в момент всеобщего пожара, в момент критический, когда всякий должен оказывать посильную помощь и когда отказываться нельзя. Но с тех пор прошло больше месяца, организовалось Временное Правительство и наладился уже некоторый порядок. Пора было каждому становиться на свое место и работать по своей специальности. Были у меня и другие соображения. Я уже сказал, что в своей деятельности я зависел от Городской Управы. Мое бюро работало очень быстро, с тем совершенно особым рвением, какое бывает только у идейных работников. Но в Городской Управе порядки были иные, там чувствовался еще «стародумский» дух. Там все что-то не ладилось, запаздывало и происходили разного рода недоразумения. Чем чаще приходилось мне посещать Городскую Управу для выяснения этих недоразумений, тем больше я выносил впечатление, что там отношение к делу слишком формальное и что положиться на энергию и аккуратность этого учреждения нельзя. Я так работать не привык. А между тем в непосредственном контакте с населением был я и мне приходилось отвечать за чужие грехи, — за бюрократизм, а может быть и за прямую недобросовестность людей, стоявших надо мною. В такое время это было совсем небезопасно.

Кроме того, моя адвокатская работа возобновилась понемногу и требовала, чтоб я отдавал ей больше времени и внимания. И я начал подготовлять почву для своей отставки. Присмотрел себе заместителя, — кооператора, пожилого человека, хоть и не зараженного нашим рвением, но за то обладавшего достаточиым опытом в продовольственном деле.

Но уйти было нелегко. Мои коллеги и слышать не хотели об этом. Они имели ко мне большое доверие и пуще всего боялись, что в продовольственное дело, с моим уходом, вотрутся нечестные люди. В конце концов мне пришлось прибегнуть к хитрости. Перед Пасхой я заявил, что срочно вызван в Тамбов, по семейным обстоятельствам, и, сдав дела заместителю, этому са-

мому кооператору, уехал на отдых... в Финляндию, в Рауху.

Какой блаженный был отдых тогда, — среди полной тишины, на лоне природы, вдали от бурь революции. В сосновом лесу еще лежал снег, но уже начинал таять под теплыми лучами яркого, весеннего солнца. Пахло свежестью и сосной... А я находился еше во власти иллюзии, что все «образуется».

По возвращении из Финляндии я к работе в продовольственном отделе не вернулся. Остался лишь заседать некоторое время в совещательном комитете при нашем коммиссариате, чтобы дать удовлетворение просившим меня о том коллегам.

СЛУЖБА В РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

Известен ответ одного француза на вопрос о том, что делал он во время великой французской революции: «Я спасал свою жизнь». Я, как и многие другие, мог бы сказать про себя то же самое. Но, увы, далеко не всем удалось спастись. Сколько из моих коллег-адвокатов было расстреляно неведомо за что, сколько погибло в тюрьмах и концентрационных лагерях, сколько умерло от недоедания и эпидемий. У меня теперь не хватило бы ни нравственных сил, ни энергии описывать все подробности нашей жизни в эти ужасные три года: 1918 — 1920.

В августе 1918 года я был арестован большевиками, как представитель «буржуазной профессии», и хотя арест мой продолжался недолго, всего две недели, но за это время я успел переменить три тюрьмы и жизнь моя была в опасности. То был момент страшного террористического разгула, последовавшего за убийством Урицкого и покушением на Ленина, и выбрался я благополучно из тюрьмы только благодаря заступничеству за меня Н. Н. Крестинского.

До моего ареста жил я, не заглядывая в будущее, с надеждой, что переживаемое Россией безумие не сегодня — завтра прекратится и большевистская власть падет. Да и сами большевики не рассчитывали тогда на долговечное существование.

Осенью 1918 года один знакомый, собираясь уехать на Украину, усиленно уговаривал нас ехать с ним. Поколебавшись немного, мы отказались. После того я стал думать о легализа-

ции своего положения: надо было взять какое нибудь место. Тут кстати подвернулось предложение профессора Политехнического Института Иоффе поступить мне секретарем в Государственный Рентгенологический Институт. В этой должности я благополучно просуществовал в Петербурге вплоть до своего бегства за-границу. Я бы мог, конечно, избрать деятельность по своей специальности, — стать правозаступником или судьей, — но я и думать не хотел о том, чтобы работать в качестве юриста в этой атмосфере дикого произвола и варварской жестокости. Тем более, что у меня уже был некоторый опыт в этом отношении: в октябре 1918 г. меня назначили защитником по одному уголовному делу — «в порядке трудовой повинности», и я до сих пор с ужасом вспоминаю, как о величайшем кошмаре, об этом близком соприкосновении моем с советским правосудием. Учреждение научного института казалось мне делом совершенно чуждым политики и во всяком случае полезным для России, какая бы власть ни стояла во главе ее. Вот я и взялся за организацию делопроизводства в Институте.

Государственный Рентгенологический Институт состоял из двух отделов, — физико-технического и медико-биологического. Физико-технич. отдел, во главе с проф. Иоффе, помещался в Политехнич. Институте, в Лесном, а медико-биологический, во главе с доктором Неменовым, в боковом здании Лицея, на Каменноостровском проспекте. Здесь же, в здании Лицея, помещалось Правление и канцелярия Института. При медико-биол. отделе состояла еще рентгенологич. клиника, которой заведывал тот же д-р Неменов.

Научные заседания Института происходили то по отделам, то у двух отделов его совместно. Впрочем эти объединенные заседания почему то плохо удавались. Медики и физики скептически относились к научным заслугам сотрудников другого отдела.

Административною частью заведывало Правление, в состав коего входили: Иоффе, Неменов, профессор Военно-Медиц. Академии А. А. Максимов (знаменитый физиолог), проф. той же Академии Аничков и проф. Политехн. Инст. Чернышев. Членами Института состояли многие выдающиеся русские ученые.

Кроме вышеупомянутых Максимова, Аничкова, Неменова, Иоффе и Чернышева были еще в медико-биол. отделе профессора Надсон, Лондон, Оппель, в физико-технич. Шатлэн, Коловрат-Червинский*) (радиолог), Капица (знаменитый впоследствии) и многие другие.

В составе канцелярии у меня подобрались отличные работники, которым в сущности, в Рентгеновском Институте негде было проявить своих способностей, — так проста была работа. В числе их находились бывший секретарь Совета Прис. Поверенных Сергей Тимофеевич Иванов, о котором я говорил в своих воспоминаниях об адвокатуре; бухгалтер, он же член Правления шоколадной фабрики «Жорж Борман» — Б. Б. Еремичев; очень культурная и способная секретарша-дактило М. Ю. Кеслер. Все они поступили в Институт только потому, что во главе канцелярии стоял я, дружески расположенный к ним человек. Я надеюсь, что молодые еще Б. Б. Еремичев и М. Ю. Кеслер нашли себе применение и работу и после моего отъезда. Но я хотел бы знать, что сталось с дорогим Сергеем Тимофеевичем, человеком уж не первой молодости. Всю жизнь проработавший в Совете Присяжных Поверенных, имевший дело с самыми выдающимися представителями русской адвокатуры и заслуживший всеобщую любовь и уважение, по природе необыкновенно скромный и честный человек, Сергей Тимофеевич был абсолютно неприспособлен к житейской борьбе в условиях советской действительности. Ему, конечно, не хватало жалованья, получаемого из Института, и он голодал вместе со своей семьей. Мало-по-малу он распродавал и обменивал свое добро и, помню, приходил иногда на службу очень странно одетый: сверху смокинг, под смокингом желтый свитер, а на ногах валенки. Наконец ему стало невтерпеж продолжать такую жизнь. Его родственник, прис. пов. П. О. Савельев, нашел ему место в продовольственном Комитете в Луге. Там Сергею Тимофеичу стало гораздо сытней, но он глубоко страдал среди той моральной атмосферы, которая сделалась обычной в советских учреждени-

*) Л. С. Коловрат-Червинский был лучшим радиологом России в то время. В январе 1921-го года он заболел ангиной и умер через три дня, 39 лет от роду. истощенный недоеданием.

ях. Мне рассказывали, как на праздниках поставщики Комитета стали присылать ему, как и другим служащим, в виде подарка, разные продукты. Он страшно рассердился и отослал эти подарки обратно, но все же считал себя с тех пор навеки опозоренным и в отчаяньи говорил, что никто из прежних знакомых и друзей не станет больше уважать его.

С Марьей Юльевной Кеслер я познакомился во время войны. Мы вместе работали тогда в Бюро по оказанию юридической помощи беженцам из Царства Польского и западных губерний. К этой работе я был привлечен моими коллегами А. А. Исаевым (это другой Исаев, — не мой патрон) и А. Н. Карасиком. Позже, при большевиках, Исаев и Карасик, неутомимые во всякого рода общественных начинаниях, затеяли собирать... архив революции. В эту работу они старались втянуть и меня, но я относился скептически к такой попытке составлять историю революции всего на третий год ее развития.

Вернусь однако к Рентгенологическому Институту.

Скучно было бы рассказывать всю историю его организации. Ясно, что при советском бюрократизме, при нищенской оплате труда и всеобщей голодухе трудно было, если не невозможно, создать и оборудовать должным образом научное учреждение. Большинство научных сотрудников работали, как подвижники, из любви к науке, не взирая на голод и холод. Но товарищи пролетарии не желали и гвоздя вбить задаром, их надо было прельстить чем-либо иным, нежели одними советскими бумажками, да еще уплачиваемыми по нормам и ставкам.

Честь создания и оборудования Института принадлежала, главным образом, д-ру Неменову. Ему же удалось, благодаря его исключительной энергии, устроить в здании Лицея клинику и научные лаборатории при ней (хотя многого все-таки недоставало для серьезной научной работы). Физико-технич. отдел воспользовался для своих работ готовой лабораторией Политехнического Института. Мало-по-малу по ходу этого дела становилось очевидным, что большевики никакого уважения к науке не питают и способны поддерживать научное учреждение только в целях политических: или для саморекламы, или если это учреждение непосредственным образом полезно для промыш-

ленности и обороны. Чтобы получить от них средства на создание и ведение Института, нужно было раздувать значение научных работ и разных «достижений» и открытий. Надо было также подхалимничать перед комиссарами и втирать им очки.

Большинство научных сотрудников держалось в стороне от организаторской и административной деятельности и никак не реагировали на действия своих шефов. Единственный, кто резко и открыто протестовал против всяких компромиссов с советскими властями, был проф. А. А. Максимов. Сколько раз я с удовольствием выслушивал в Правлении его саркастические замечания и указания на невозможность серьезной научной работы в таких условиях. Впрочем и сам Неменов неоднократно жаловался в заседаниях Правления, что в Институте не хватает многого самого необходимого. При таких условиях, признавался он, в Институте происходит «видимость работы», а не самая работа. Все же он не складывал рук. Он был чрезвычайно пронырлив и умел добиться от Луначарского разных милостей для Института.

Приходилось ему и Иоффе часами просиживать в приемной у аптекарского помощника Гринберга, тогдашнего комиссара народного просвещения в Петербурге, чтобы вымаливать у него субсидии на производство каких-то необыкновенных опытов. Государственный Контроль и другие советские учреждения весьма придирались к ассигновкам, просьбам об отпуске материалов и т. д., требуя от Института заполнения анкет и соблюдения разных бюрократических формальностей, чрезвычайно затягивавших дело. Иоффе неоднократно сетовал на меня, как это я не умею поскорей «проталкивать» ассигновки и ордера.

И вот однажды в заседании Правления он радостно сообщил, что ему удалось найти опытного «толкача» и что теперь работа Института пойдет как по маслу. Для начала этот толкач, некий Оржевский, предложил Неменову достать некоторое количество спирта для его отдела. Неменов согласился и выписал требование, но к деятельности нового толкача отнесся подозрительно и вскоре поймал его на том, что тот получает из Рауспирта одно количество спирта, а сдает в Институт гораздо меньше.

Тут-то и выяснилась причина силы его и влияния. Оказалось, что из получаемого спирта Оржевский дает взятки, как сотрудникам Рауспирта, так и контролерам разных ведомств. Неменов не на шутку перепугался и потребовал немедленного увольнения толкача, заявив в Правлении, что, во-первых, ученому учреждению не подобает применять такие методы «проталкивания», а, во-вторых, что это и небезопасно, чего доброго попадешь под расстрел. Таким образом, толкач был выдворен из Института.

Как я уже сказал, Неменов был очень пронырлив, хотя и не прибегал к помощи взяток спиртом. Ему удалось добиться издания книжки о «Трудах Рентгенологического Института». Вышла эта книжка в роскошном издании, на меловой бумаге, с отличными репродукциями, в то время как старые университеты и даже Академия Наук не могли добиться издания своих трудов, хотя бы и на самой простой бумаге. Вместе с тем в 1920 году Неменов получил командировку на съезд рентгенологов в Германию, повез туда «Труды Института» и там поразил немецких ученых, и этой книгой, и рассказами о том, как советская власть покровительствует ученым и какие создает научные учреждения. А вернувшись из командировки, он напечатал в московских «Известиях» благодарственное письмо Луначарскому. После этого письма и этой командировки из состава Рентгенологического Института вышли профессора Оппель и Эберт. Профессора же Максимов и Аничков также ушли незадолго до этого.

В конце концов моя служба в Институте набила мне порядочную оскомину, несмотря на то, что и д-р Неменов, и проф. Иоффе всегда отлично относились ко мне, и потому я сохранил о них добрую память.

Я хотел прибавить еще к сказанному об Институте несколько воспоминаний о проф. А. А. Максимове.

Как я говорил, Максимов держался в Институте очень независимо и нередко позволял себе иронизировать насчет Неменова, но Неменов терпеливо переносил эту иронию, так как очень

высоко ставил научный авторитет Максимова и чрезвычайно дорожил его участием в Институте. Иногда он начинал приставать к Максимову с просьбой сделать доклад о научных работах, производимых им в лаборатории Рентген. Института. «Это было бы очень полезно для Института», — пояснял он. Максимов отвечал, что он не может сделать доклада, пока не закончил своей работы, а закончить эту работу ему мешает, как он неоднократно объяснял, недостаточное оборудование лаборатории: не хватает и аппаратов, и материалов.

«Я скоро все вам достану! — восклицал Неменов, — все, что вам нужно. И свинок, и даже обезьян, если хотите!» — «Ах, — раздраженно говорил Максимов, — не в этом только дело. Я и сам знаю, что в России свиней и обезьян — сколько угодно. И ослов тоже!» — добавлял он сердито.

Максимов внешне отличался от всех. Держался всегда подтянуто, по-военному, и был хорошо одет, в отлично сшитом френче и начищенных до блеска сапогах. В то время это было не по моде, все ходили в весьма потрепанном виде. Одни делали это по нужде, другие, чтобы подделаться под пролетариев. Невольно говорили ему при встрече: «Какой однако вы шикарный, Александр Александрович!» — «Да, батенька, — отвечал тот, — донашиваю последнее, а что потом буду носить, не знаю».

Он пользовался мировой известностью и я слышал, что ему были предложения из за-границы, а потому как-то спросил его об этом.

«Какая там заграница, — отвечал он, — отведут мне там уголок стола, вот и работай на нем, как хочешь. А здесь у меня, голубчик, своя лаборатория, которую я двадцать лет устраивал, своя библиотека... Как мне все это бросить!» А между тем и жить, и работать становилось все тяжелей. Средств сообщения не было, приходилось идти пешком, скользя по обледенелым тротуарам, которые не чистились. Иногда лопались трубы в лаборатории и нужно было спасать ее от наводнения, работая своими руками. На низший персонал в то время нельзя было рассчитывать, слишком были распущены. Александр Александрович часто жаловался на физическое утомление. Жаловался и на то, что у него в лаборатории начинает многого недоста-

вать и это мешает работе. «Вы бы пошли и попросили, Ал. Ал., — говорил ему Неменов, — *вам* дадут». — «Ну нет, слуга покорный, — отвечал Максимов, — я этим хамам кланяться не буду!»

Помню еще один эпизод из жизни Института. Неменов откуда-то узнал, что в квартире Елисеева, в несгораемом шкафу, хранится некоторое количество радия. Ему удалось выхлопотать приказ о реквизиции этого радия и о передаче его Институту. Торжествующе он доложил об этом Правлению и просил членов его подписать акт приемки радия. Максимов от подписания акта уклонился и сказал: «Я в ограблении чужого имущества участвовать не желаю».

А. А. Максимов покинул Россию в 1921 году. Его пригласили в Чикаго, где для его работ была оборудована специальная лаборатория. Но он писал оттуда, что ему все-таки тяжело живется вне родины. Он вскоре и умер там сравнительно молодым (в 1927 году).

МОИ ВЫСТУПЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПЕВЦА

За свою работу в Рентгенологическом Институте я получал немного; да на деньги в то время почти ничего и нельзя было купить.

Паек оттуда выдавался самый незначительный, жить на этот паек было невозможно. Приходилось пускаться во все тяжкие, чтобы раздобыть продукты питания. Я решил применить свои музыкальные способности и начал выступать в концертах, — «халтурить», как тогда называлось. С молодых лет своих я много пел, — по-любительски, конечно, — и романсный репертуар мой был обширный. Учиться же пению я начал поздно, лишь в тридцать лет.

Нас, певцов, возили на грузовиках по заводам и рабочим клубам и мы распевали там романсы для развлечения пролетариев и пролетарок и за то получали муку, масло и другие продукты. Иногда пели целые оперы в камерном исполнении и не раз приходилось мне выступать в них рядом с артистами Императорских театров, которые халтурили тоже немало.

Артист Т. Ф. Казаков слышал меня в концерте, ему понравился мой голос и, когда он с артистом Императорских театров И. К. Денисовым стали организовывать вокальный квартет, то пригласили к участию в нем и меня. Четвертым участником квартета был в то время бас Мариинского театра Пустовойт. Я пел с ними в концертах больше года, вплоть до моего отъезда заграницу.

Чтобы иметь право на выступления, я записался в Союз Работников Искусства. В погоне за продовольствием множество бездарных любителей вступило тогда в Союз и халтурило во всю. Ввиду этого Союз назначил в 1920 году проверочные испытания для всех новоиспеченных артистов. Через это испытание я прошел благополучно.

Однако моя артистическая деятельность вскоре прервалась, так как мы с женой к этому времени уже решили уехать заграницу и занялись подготовкой к этому отъезду.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.C.E., 18, Fg au Temple, Paris - Tél. Obe 14-55